18+

Владимир Тормышов

Тихий хозяин Матыры



Владимир Тормышов

Тихий хозяин Матыры

«Издательские решения»

Тормышов В.

Тихий хозяин Матыры / В. Тормышов — «Издательские решения»,

В селе Казинка, где река Матыра по ночам пахнет остывшим железом и тайной, живет дед Слава. Днем он — старый знахарь, пахнущий канифолью и сухими травами. Ночью — он Тихий Хозяин, хранитель границы между живыми и теми, кто не нашел покоя. К его порогу приходят люди со сломанными судьбами: жены, забывшие, как любить; дети, потерявшие голос; мертвецы, желающие вернуться. Дед Слава лечит их не молитвами, а тяжелым дыханием, забирая чужую боль и отдавая свое время жизни.

© Тормышов В.
© Издательские решения

Содержание

Тихий хозяин Матыры 6
Дым над Матырой: Хроники 1987—2026 7
Раз в год 9
Погань 11
Раки 13
Рыбы 15
Рыбалка 17
Мальчик 19
Гангрена 22
Псориаз 25
Ходячий 28
Воры 31
Язва 34
Праздник 36
Тьма 38
Ночь 41
Пушкин 43
Чечня 46
Небо 49
Туман 51
Пожар 53
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Тихий хозяин Матыры

Владимир Тормышов

© Владимир Тормышов, 2026

ISBN 978-5-0071-7008-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Тихий хозяин Матыры

Интересные истории и рассказы о деде Славе и еще много о чем.

Вы думаете, магия — это фаерболы, древние руны и битвы драконов в небесах?

Вы ошибаетесь.

Магия пахнет пылью, антоновкой и сухим сеном. Она живет не в хрустальных башнях, а на покосившемся крыльце старого дома в селе Казинка. Там, где река Матыра течет так медленно, что кажется, будто время в ней превратилось в густой деготь.

Там живет дед Слава.

Он не носит мантий. Его парадная одежда — старый брезентовый плащ, пахнущий дождем и махоркой. Он не читает заклинаний из книг. Он просто говорит: «Порядок» — и сломанная кость срастается сама собой, а лесной пожар, пожравший тысячи гектаров, засыпает сытым сном, наевшись его памяти.

В этой книге нет спасения мира.

В ней есть только удержание мира.

Вы увидите, как дед Слава идет косить сено, но коса взлетает сама, складывая траву в идеальные валки, потому что сама Земля не хочет отпускать такого хозяина в дом, пока работа не сделана.

Вы встретите оборотня, который устал быть волком и превратился в свинью-философа, и деда Славу, который вынужден объяснять древнему духу, что воровать картошку у бабы Нюры — это не бунт против системы, а просто дурной тон.

Вы узнаете, что Перун, бог грозы, живет не на небесах, а внутри старого колдуна, и страшно ругается, когда его заставляют лечить сломанную лапу собаке вместо того, чтобы метать молнии в грешников.

«Тихий хозяин Матыры» — это не сборник рассказов. Это хроника одного села, которое стоит на краю Пустоты.

Это книга о том, как пахнет осень, когда вдыхаешь ее сквозь фильтр воспоминаний. О том, что самый страшный монстр — это забвение, а самое мощное оружие против него — теплая краюха хлеба и слово «порядок».

Если вы скучаете по детству…

Если вам хочется магии, которая не ослепляет, а греет ладони…

Если вы верите, что в каждом старом доме за печкой сидит свой домовой, а за околицей — свой бог…

…Откройте эту книгу.

Но будьте осторожны. Читая ее, вы можете внезапно почувствовать запах озона и услышать, как за вашим окном начинает ворчать далекий, недовольный гром.

Дед Слава вышел на крыльцо. Ему пора обходить свои владения.

«Тихий хозяин Матыры» — когда боги уходят, кто-то должен остаться, чтобы держать небо.

Дым над Матырой: Хроники 1987—2026

В моем доме пахнет старыми газетами, сухой полынью и временем, которое скисло. За окном — 2026 год. За окном — мир, где люди носят компьютеры на глазах и разговаривают с чайниками. А я сижу за дубовым столом, который помнит тепло рук моего отца, и пишу это от руки. Чернила сохнут медленно, как смола на сосне.

Мой отец, которого соседи звали дед Слава, умер, когда за окном еще был двадцатый век. Кажется, это было в прошлой геологической эпохе.

Он не был похож на тех колдунов, которых рисуют в кино. Никаких черных балахонов. Он носил застиранные рубахи в клетку, от него всегда пахло махоркой и печным дымом, а в бороде вечно застревали сухие листья смородины.

Мы жили в Казинке, в избе, которая вросла в землю по самые окна, там, где река Матыра делает свой сонный, ленивый поворот.

Я помню 1987 год. Мне было двадцать один. Август плавил асфальт на станции, и воздух дрожал от жары. Я сидел на завалинке и пытался прочитать «Комсомольскую правду», но буквы расплывались.

— Ты смотришь, но не видишь, — сказал тогда дед Слава. Он вышел из сеней, неся в переднике что-то темное и копошащееся. — Глаза у тебя стеклянные. Как у витрины сельмага.

Он опустился рядом на завалинку. В переднике лежал пойманный ворон. Птица смотрела на нас черным, мудрым и злым глазом.

— Духовидение, — крякнул дед, выпуская ворона. — Это не когда ты смотришь на призраков в подвале. Это когда ты видишь, что у соседского кота на левом ухе сидит мелкая тоска размером с блоху. Или что у председателя сельсовета под сердцем воробей сдох от злобы.

Ворон каркнул, взмахнул крыльями и улетел в сторону Матыры. Но он не просто исчез в небе. Я *увидел*, как его тень на мгновение стала тенью старухи в черном платке, а потом рассыпалась черной пылью.

— Вот, — кивнул дед. — Пошел. Теперь и ты видишь.

В том году, в 1987-м, я начал записывать. Сначала в тетрадь в клеточку, химическим карандашом. Я записывал за дедом. Как заговорить кровь, чтоб не стыла. Как узнать вора по тому, как он переступает порог. Как увидеть в луже отражение того, кто тебя ненавидит, даже если он стоит за сто верст.

Отец учил меня не заклинаниям из книг. Он учил меня *слушать*. Слушать, как гудит пустая бутылка на ветру — это голос утопленника. Смотреть, как горит газета — если пламя синее, в доме будет покойник. Он учил меня Внутривидению.

— В тебе, — говорил он, пуская дым самокрутки, — есть Чаша. В солнечном сплетении. Если она пуста — ты пуст. Если там чернота — ты мертв, хоть и ходишь. Смотри туда. Смотри внутрь, пока не увидишь, какого цвета твой страх.

Время шло. Рухнул Союз.

Девяностые. Бандиты. Рэкет.

Наступили нулевые, десятые. Мир стал быстрым, глянцевым, пахнущим пластиком и озоном. Дед Слава, так звали отца соседа, умер тихо, осенью, во сне. Просто утром не проснулся. В его застывшей руке была зажата не иконка, а старый, ржавый железнодорожный костыль.

Я уехал из Казинки. Жил в больших городах. Стал писать. Мои рассказы и статьи начали печатать. В них была тоска по настоящему, по тому, как пахнет дым. Люди читали это, сидя в своих стеклянных офисах, и вздыхали. Они думали, что это красивая сказка.

А потом пришел 2026 год.

Я сижу в своей городской квартире. Вокруг меня — умные колонки, голографические экраны, еда, напечатанная на принтере. В мире не осталось места для магии. Она стала алгоритмом. Нейросети пишут стихи лучше поэтов, предсказывают будущее лучше гадалок.

Но у меня на коленях лежит старая тетрадь. Та самая, из 1987 года. Химический карандаш выцвел до цвета призрака.

Я пишу эти строки сейчас, спустя почти сорок лет после того летнего дня с вороном. Я пишу по памяти. Память — странная вещь. Она избирательна. Она стирает боль, но оставляет запах махорки деда. Она искажает факты, но оставляет истину.

Я пишу эти рассказы, потому что если я перестану это делать, дед Слава исчезнет окончательно. Он превратится в строчку в архивной книге ЗАГС: «Смерть от сердечной недостаточности». Но он не умер от недостаточности. Он умер потому, что его Чаша была полна до краев, и ему пора было перелить ее в меня.

Я знаю, что так книги больше не пишут. Сейчас пишут спринтами, по графику релизов, под запросы алгоритмов. Никто не держит сюжет книги в голове сорок лет. Но такова моя реальность.

Я смотрю в окно своей квартиры на первом этаже. Внизу течет не Матыра, а река из горящих фар машин. Но если прищуриться, закрыть один глаз и посмотреть *внутрь*, туда, где дед оставил свой дар, я вижу рябь на воде. Я слышу запах смородинового листа. И где-то там, в тени камышей, сидит старый ворон, который на самом деле — мой отец, и он терпеливо ждет, когда я допишу последнее предложение, чтобы мы вместе пошли смотреть, как над рекой встает туман.

Тетрадь заканчивается. Чернила в ручке тоже. За окном 2026 год. Но в Казинке всё ещё 1987-й. Вечный август. Дым над водой.

Я, наверно, никогда в жизни не говорил отцу:

— Я люблю тебя!

Стеснялся.

Пришло время это сказать.

В селе Казинка, где река Матыра по ночам пахнет остывшим железом и тайной, живет дед Слава.

Днем он — старый знахарь, пахнущий канифолью и сухими травами. Ночью — он Тихий Хозяин, хранитель границы между живыми и теми, кто не нашел покоя. К его порогу приходят люди со сломанными судьбами: жены, забывшие, как любить; дети, потерявшие голос; мертвецы, желающие вернуться.

Дед Слава лечит их не молитвами, а тяжелым дыханием, забирая чужую боль и отдавая свое время. Но когда наступает Ночь Семика, он сам выходит к реке, чтобы усмирять тех, кто при жизни торговал с тьмой. Это история о магии, которая пахнет пылью, и о сыне Владимире, которому предстоит сменить отца на посту у самой кромки вечности.

Раз в год

В селе Казинка, где избы вросли в землю по самые резные наличники, а время измерялось не часами, а густотой тумана над рекой Матырой, было кладбище. Не то городское, с гранитными ангелами и вечным огнем, а старое, русское, заросшее полынью и дикой мальвой.

И была там одна могила, на которую даже в Иванов день боялись бросать тень.

Креста на ней не было. Вместо него из жирной, черной земли торчал старый, источенный червями пень, похожий на костлявую руку. А звали того, кто спал под этим пнем, дед Слава.

Но в Казинке последние лет сто его звали иначе — Колдун.

Весь год кладбище жило своей тихой, мышиной жизнью. Скрипел на ветру заржавленный флюгер с петушком, осыпалась в бурьян кирпичная крошка с разоренной часовни, и только ветер перебирал жестяные венки, похожие на побитые морозом листья.

Но когда июньский зной наливал яблоки в садах Казинки медовой тяжестью, а ночи становились короткими и синими, как чернила, земля на могиле деда начинала шевелиться.

Она не разверзалась с грохотом, не выбрасывала фонтаны праха. Она дышала. Сначала над пнем-распятием оседала пыль, потом сквозь трещины в сухой глине пробивался бледный, фосфорический свет. И однажды, в самую короткую ночь года, когда лягушки в Матыре сходили с ума от любви, земля со вздохом выпустила его.

Дед Слава вылезал не спеша. Он стряхивал с ветхого армяка, сотканного, казалось, из самой кладбищенской паутины, комья сырой земли.

Его борода была белой не от прожитых лет, а от плесени, а глаза, когда он открывал их, светились в темноте старой луковой шелухой. Он не был мертв. Он был просто очень, очень занят.

Смерть — это для тех, кто не знает, куда девать время.

У деда времени было в избытке, оно стояло в его жилах густым дегтем.

Раз в год, в ночь на солнцеворот, ему нужно было выйти в мир, чтобы проверить, не заржавели ли шестеренки бытия.

Он шел по спящей Казинке, и от его шагов вяли лопухи. Он не нес зла. Зло — это слишком человеческое, слишком суетливое понятие. Дед нес Великую Правильность.

Он остановился у дома вдовы Агафьи, той самой, что на поминках по мужу съела в одну каску целый противень пирогов.

Дед поднял свою руку, похожую на сухой корень, и легонько дунул на окна. Внутри, во сне, у Агафьи вдруг невыносимо зачесались ладони.

Она проснулась, села на кровати и впервые за десять лет почувствовала вкус воска и земли — вкус того самого последнего пирога, который она доедала, когда гроб еще не опустили в яму.

Слезы, сухие и горячие, как песок, потекли по ее полным щекам. Счет был оплачен.

Дальше, мимо колодезного журавля, который скрипнул и вытянул шею, провожая старика.

К дому молодого пастуха Игната, который хвастался на все село, что не верит ни в бога, ни в черта.

Дед подошел к его калитке, и все собаки в Казинке, от мала до велика, прижали уши и заскулили, заскребли лапами землю, пытаясь зарыться в самую глубь, к корням.

Игнат проснулся от того, что его сердце пропустило удар, а потом ударило так, что зазвенели стекла.

Он увидел в окне черный силуэт и понял, что такое настоящий, первобытный ужас — не животный, а тот, что древнее костей. Он понял, что он есть. Что он — просто тонкая кожица

на огромном, дышащем ужасе мироздания. Утром Игнат продал скотину и ушел в монастырь под Суздалем.

Дед Слава шел дальше, к реке. Там, у старой ивы, он остановился. Он достал из-за пазухи сухую, как стручок, дудочку из человеческой кости. И заиграл. Это не была музыка. Это был звук, с которым звезды крепятся к небесному своду, и с которым гниет забытое в подполе яблоко.

На звук из реки начала подниматься вода. Она не вышла из берегов, нет. Она просто встала стеной, и в этой прозрачной толще, как в янтаре, застыли сны всех жителей Казинки.

Сны о несбывшемся, о несказанном, о тех словах любви, что застряли в горле.

Дед Слава дул в свою костяную дудку, собирая эти испарения лета, эту золотую пыльцу человеческих жизней, и спрятал ее в пустой кувшин, висевший у него на поясе.

За год люди снова накопят этой пыльцы — накричат друг на друга, намолятся в страхе, намечтают глупостей под одеялом.

А он придет в следующую ночь солнцестояния и соберет урожай. Потому что если не собирать человеческие сны и страхи, они забьют поры земли, и мир задохнется в собственной мелочной суете.

Он доиграл.

Кувшин наполнился до краев теплым, золотистым светом. Дед спрятал дудку, поклонился спящим избам — вежливо, по-хозяйски — и пошел обратно к своей могиле.

Он лег на свой пень, сложил руки на груди. Земля, ждавшая его, влажная и теплая, как материнское лоно, медленно вздохнула и приняла его обратно. Затягивая за ним шов, поросший полынью.

А утром в Казинке пошел дождь. Первый за два месяца. Он пах мокрой пылью, озоном и почему-то — старым медом.

Вдова Агафья вынесла на крыльцо лукошко со свежими, еще теплыми пирогами и оставила их у забора — для путников и нищих.

Молодой Игнат, вернувшийся под утро из леса белый как полотно, впервые в жизни перекрестился на покосившийся крест заброшенной часовни.

А на кладбище, на могиле без креста, к вечеру вырос невиданный цветок — черный, бархатный, с пунцовой, как запекшаяся кровь, сердцевиной, пахнущий озоном и прелыми листьями.

И никто в селе не знал, что этот цветок — всего лишь выдох старого колдуна, задержавшийся в летнем воздухе.

Погань

Зима пришла в наши края не так, как о ней пишут в календарях. Она не упала с неба мягким снегом. Она просочилась из-под земли вместе с грунтовыми водами.

В то утро мы проснулись не от холода, а от тишины. Вы когда-нибудь замечали, что у лета есть звук? Гудение мухи в стекле, шелест тополя, далекий треск мотоцикла. В то утро звук выключили. Воздух стал стеклянным и ломким. Мы вышли на крыльцо, и наши зубы сами собой стукнули не от мороза, а от вида.

Трава не замерзла. Она мумифицировалась. Каждый стебель пожелтел, высох и стал прозрачным, как старая слюда. И на кончике каждого такого стебля, вместо капли росы, сидела крошечная, безупречно правильная шестиконечная снежинка. Но это был не снег. Это была плесень. Белая, пушистая, пахнущая сырый подвалом и забытым в шкафу яблоком.

— Погань, — сказал дед Слава, стоявший рядом, и поплотнее запахнул воротник овчинного тулупа. — Зима — это и есть погань. Просто мы привыкли к ее виду.

Мы пошли по главной улице поселка. Соседский мальчишка Витька сидел на качелях. Летом они скрипели на весь квартал, а сейчас висели неподвижно, вмерзшие в воздух.

Витька тоже был покрыт этой белой, бархатной пылью. Она была на его ресницах, на вязаной шапке, на губах. Он не дрожал. Он смотрел перед собой пустыми, выцветшими глазами, и из его рта, когда он медленно выдохнул, вылетело облачко такой же белой пыли.

— Деда, — прошептал я. — Он живой?

— А какая разница? — ответил дед. — Теперь он вечный. Зима берет их молодыми. Она не любит старости, потому что старики уже наполовину состоят из нее. Она любит свежее мясо и горячую кровь, чтобы было во что пустить корни.

С крыш свисали не сосульки, а ледяные иглы, внутри которых, если присмотреться, пульсировала черная жижа. Водокачка на площади, которая гудела сто лет, теперь молчала.

Из ее вентилей не капала вода. Там, где должна была быть вода, нарастала серая, склизкая бахрома. Она шевелилась без всякого ветра.

Это дышала сама зима. Она была живым организмом, гигантским грибом, чьим мицелием стала вся наша округа.

Мы спустились к реке Матыра. Летом она несла свои воды быстро, ворочая камни. Сейчас река превратилась в черное зеркало. Но лед на ней был не гладким. Он был похож на вспаханное поле. Из-под прозрачной корки, как бледные черви, лезли корни. Они тянулись из самого дна, сплетались в узлы и расползались к берегам, прорастая сквозь сугробы.

— Что это? — спросил я.

— Память воды, — сказал дед. — Все, что утонуло в этой реке за триста лет — утопленники, дохлые лошади, старые иконы, брошенные солдатские письма — теперь всплыло. Зима вытягивает их наверх. Она питается падалью времени. Смотри.

Я посмотрел на черную воду и увидел. Там, в глубине, медленно кружился остов баржи, обросший не ракушками, а огромными, с человеческую голову, грибами-трутовиками. На палубе стоял скелет в истлевшем мундире, и вместо глаз у него горели два тусклых зеленоватых огонька, как у гнилушек в ночном лесу.

Мы пошли обратно в дом. Внутри пахло пылью и морозом, хотя печь мы топили с утра. Дед Слава достал из буфета бутыль с мутным самогоном, налил два граненых стакана.

— Пей, — сказал он. — Алкоголь горит. А огонь — это единственное, что эта белая дрянь не умеет копировать. Огонь для нее — как крик в лицо глухому.

Я выпил. Жидкость обожгла горло, и на секунду мне показалось, что я снова могу дышать настоящим, теплым воздухом.

К вечеру белая погань добралась до нашего забора. Она не росла ввысь. Она текла по земле, как пролитое молоко, как ртуть, обволакивая штакетник. Я смотрел в окно, как она пожирает дерево. Штакетина не чернела и не гнила. Она просто исчезала, становясь частью этой единой, всепроникающей массы.

— Деда, — сказал я. — А мы?

— А мы пока внутри, — спокойно ответил он, подбрасывая в голландку березовое полено. Пламя загудело, и по стенам заплясали наши огромные, искаженные тени. — Зима всегда дает немного времени. Чтобы ты успел осознать. Она ведь очень вежливая, эта погань. Она не врывается. Она просачивается под дверь.

За окном стемнело окончательно. Но темнота была не черной, а белесой.

Лунный свет, падая на землю, больше не блестел. Он впитывался в пушистую плесень и становился ее частью.

Весь наш двор, наш сад, наш мир медленно, беззвучно превращался в огромный, светящийся в темноте гриб.

Где-то далеко, на другом конце поселка, завыла собака. Но вой ее был коротким. Он оборвался на самой высокой ноте, словно горло пса заткнули ватой. Белой, пушистой, пахнущей сыростью и концом времен.

Дед подбросил еще одно полено.

— Спи, — сказал он. — Пока горит огонь. Завтра нам придется учиться дышать спорами. Говорят, если привыкнуть, это даже приятно. Засыпаешь и видишь зеленые, сочные сны о бесконечном лете. Ловушка всегда должна быть сладкой. В этом и есть главный зимний закон.

Раки

Август в черноземной России — это запах раскаленного до синевы неба и пыльной полыни. Мы с дедом Славой спускались к реке Матыре не за рыбой. Рыба — это для тех, кто верит в случай. Мы шли за раками.

Матыра в том месте, где она огибает старую каменоломню, не течет. Она стоит.

Вода в ней тяжелая, цвета крепкого чая, настоянного на железе и древних костях. Днем она кажется неподвижной, как черный вар, и только если долго смотреть на опавший лист у берега, поймешь: она движется.

Но движется не вперед, а вниз, медленно всасываясь в саму себя, в черную, илистую бездну.

— Здесь, — сказал дед, останавливаясь у коряги, похожей на скрюченную руку утопленника. — Здесь они и сидят. С самого сотворения мира.

Дед Слава размотал кусок старой марли, натянутый на проволочный обруч. Это была не снасть, а скорее сачок для ловли ночных кошмаров. Мы надели холщовые рукавицы. Вода обожгла лодыжки не холодом, а странным, глубинным теплом, словно мы ступили в вену спящего исполина.

Первые раки вышли на свет, когда солнце коснулось верхушек ракит. Они не пятились из-под камней, как положено приличным ракам из учебников зоологии. Они выходили из самого ила. Земля на дне просто шевелилась, трескалась, и из разлома, из первобытной грязи, появлялся он.

Панцирь его не был красным или бурым. Он был цвета старого, окислившегося свинца, с прозеленью тины. Но главное — его клешни. Они были размером с десертную вилку, покрытые не хитином, а чем-то напоминающим почерневшую от времени кость. И звук, с которым они смыкались в воде, был не щелчком, а сухим, отчетливым стуком, как если бы кто-то перекладывал в темноте старые шахматные фигуры.

— Не трогай тех, что с белым пятном на хвосте, — тихо бросил дед, вытаскивая очередного зверя. — Это их старшины. Они помнят Куликовскую битву.

Я зачерпнул ладонью воду.

Она была густой. В ней не плавали мальки. В ней плавала память. Я видел в этой воде отражение не своего лица, а лица какого-то древнего скифа, водившего здесь свои стада три тысячи лет назад. Раки Матыры не были животными.

Они были библиотекарями этой реки. Каждая клешня, каждый сустав их ног хранили в себе слепок времени.

Мы наполняли ведро. И чем больше их становилось наверху, тем тише делалось вокруг. Перестали звенеть комары. Замолчали лягушки. Сама Матыра, казалось, затаила дыхание, ревниво наблюдая, как мы забираем ее летопись.

Дед Слава вытащил самого большого. Тот не сопротивлялся. Он просто висел в его руке, перебирая в воздухе своими чудовищными, изящными ногами, и смотрел на нас бусинками глаз, в которых отражался не наш мир. В этих глазах горел холодный, изумрудный свет донных ключей.

— У каждой реки есть своя душа, — сказал дед, бережно опуская великана обратно в воду. — У Волги — это стерлядь. У Енисея — таймень. А у нашей Матыры, тихой, курной, воронежской — вот они.

Он бросил рака в ил.

Тот не плюхнулся. Он вошел в родную стихию беззвучно, как игла входит в бархат.

Вода над ним сомкнулась, и по поверхности пошли круги, но шли они не от центра к берегу, а наоборот — от берегов к середине реки, закручиваясь в воронку.

— Зачем мы их ловим, деда? — спросил я. — Если они такие… старые.

— А затем, — ответил дед, сматывая марлю, — чтобы помнить. Когда ты варишь такого рака, ты варишь не мясо. Ты варишь время. Бульон от него получается черный, как деготь, и пахнет он не укропом. Он пахнет озоном перед грозой и мокрыми газетами тысяча девятьсот сорок первого года. Выпьешь ложку такого варева — и увидишь, как по этой самой Матыре ходили на стругах разинцы, как горели барские усадьбы и как плакали бабы над похоронками.

Мы шли обратно в село, неся ведро, в котором тихо, по-стариковски шуршала древность. Над Матырой сгущались лиловые сумерки. И мне казалось, что река смотрит нам вслед тысячами изумрудных глаз, проверяя, не унесли ли мы с собой лишнего. Не украли ли мы у нее ту страницу, на которой была записана тайна того, почему солнце все еще встает по утрам.

А в ведре, в самом центре шевелящейся массы, сидел рак с белым пятном на хвосте. Он не пытался выбраться. Он просто смотрел на закат, и в его неподвижности была такая окончательная, вселенская мудрость, что становилось страшно дышать.

Примечание: Река Матыра протекает по территориям Тамбовской и Липецкой областей, является левым притоком реки Воронеж. В ее пойменных озерах и старицах действительно обитают широкопалые раки, известные своими внушительными размерами, а дно реки во многих местах покрыто мощным слоем ила, хранящего многовековую историю края.

Рыбы

Август в Грязях и Липецке пахнет не просто пылью, а пылью, смешанной с запахом остывающего металла и речной тины. Река Матыра в это время года — это не вода. Это густая, дышащая смола, в которой время застыло, как доисторическая муха.

Мы с дедом Славой сидели на старых автомобильных покрышках, брошенных у лодочной станции еще при Хрущеве. Дед не ловил рыбу. Он разговаривал с ней.

— Они больше не клюют, — сказал я, в сотый раз проверяя наживку на крючке. Червь был цел и невредим, он даже пытался уползти обратно в жестяную банку.

— А зачем им клевать? — дед пожевал губами, сплюнул в черную воду, и круги от плевка пошли не кругами, а какими-то сложными, угловатыми фигурами. — Ты думаешь, они там плавают? Плавают мальки. А те, что внизу, в ямах у старой плотины, они думают.

Я посмотрел на темную гладь. Матыра никогда не отражала небо. Она впитывала его. Днем она была цвета вороненой стали, ночью — цвета чернил, в которые пролили молоко.

— Первые сто лет, — продолжил дед, глядя куда-то сквозь меня, — они просто ели. Потом научились обманывать сеть. Потом — отличать крючок с наживкой от простого коряжника. А потом, лет пятьдесят назад, они поняли главное. Поняли, что мы сидим на берегу. И мы — это конец.

Вода у самого берега едва заметно дрогнула. Мне показалось, что я увидел тень. Огромную, размером с хорошего сома, но формой напоминающую не рыбу, а скорее вопросительный знак. Тень зависла в толще воды и медленно, с достоинством, опустилась в ил.

— В сорок первом, — дед Слава достал из кармана телогрейки кусок подсоленного хлеба, отщипнул крошку и бросил в реку, — когда тут все горело, они перестали брать хлеб. Вообще. Перешли на камни и корни. Поняли, что хлеб — это приманка. А когда война кончилась, они снова стали брать хлеб, но только по воскресеньям. По будням — игнорируют. У них там, на дне, свой календарь.

— Это просто течение, деда. Ил играет.

— Ил не играет, — спокойно ответил дед. — Ил слушает. А они командуют. Вон, гляди.

Он бросил в воду не крошку, а маленький, гладкий голыш. Камень булькнул и пошел ко дну.

Прошла секунда. Другая.

И из глубины, навстречу камню, медленно поднялся пузырь воздуха. Не случайный, не болотный газ. Один. Идеально круглый.

Он коснулся камня, на мгновение прилип к нему, словно оценивая, и только после этого лопнул. Камень, не долетев до дна пару вершков, вдруг странно вильнул в сторону и зарылся в ил, хотя никакого течения там не было.

— Они его передвинули, — прошептал я. Голос сел от внезапного, иррационального страха.

— Мыслью, — кивнул дед. — За столетия они накачали мозги. Вода в Матыре тяжелая, она давит. Чтобы выжить, нужно было либо отрастить брюхо, как у леща, либо голову. Они отрастили головы. Теперь они могут всё.

Он бросил в воду еще одну крошку. На этот раз вода даже не шелохнулась.

— Они больше не едят хлеб, — сказал дед. — Они сыты. Они питаются нашими снами. Каждую ночь, когда село засыпает, они поднимаются к самой поверхности и всасывают испарения. Испарения наших страхов, нашей злости, нашей тоски. Поэтому они такие тяжелые. Поэтому их невозможно вытащить. В них по пуду чистого, неразбавленного человеческого горя.

Солнце село за старые цеха сахарного завода. Матыра мгновенно почернела и стала казаться бесконечной. Где-то в камышах плеснуло, но звук был не мокрым, а сухим, похожим на щелчок костяшек счетов.

— Что они хотят, деда?

— Ничего. Они просто ждут. Они умнее нас. Мы сидим на берегу и ждем, когда нас заберет земля. А они лежат в реке и ждут, когда их заберет небо. Они вычислили, что суша — это ошибка. Тяжелая, глупая ошибка эволюции. И они решили исправить ее.

Дед встал, отряхнул колени.

— Пошли, что ли. Холодает.

— А рыба? — глупо спросил я, кивнув на пустые удочки.

— А рыбы нет, — сказал дед. — Была, да вся вышла. Теперь там, внизу, только ихтиандры. Только мысли, обросшие чешуей.

Мы пошли по тропинке прочь от реки, к тусклым огонькам села. А за спиной, в абсолютной, тяжелой тишине липецкого вечера, я слышал, как Матыра дышит. И в этом дыхании не было ничего рыбьего. Это был глубокий, мерный, бесконечно терпеливый вздох разума, который веками наблюдает за нами с самого дна. И который, кажется, только что принял решение перестать быть просто рыбой.

Рыбалка

Река Воронеж в то июльское утро была цвета мокрого асфальта. Солнце еще не взошло, но небо уже посерело, и над водой стоял такой густой, плотный туман, что казалось, его можно резать ножом и мазать на хлеб вместо масла.

Мы сидели с дедом Славой в старой деревянной лодке уже третий час. У меня не было ни одной поклевки. Поплавок из гусиного пера стоял в воде мертво, как памятник.

Вокруг, насколько хватало глаз сквозь белую мглу, качались на волнах другие лодки. Мужики из нашего села — трактористы, электрики, скотники — матерились вполголоса, смолили дешевые папиросы и остервенело дергали удочки. Пусто. Река вымерла. Рыба ушла в другие края, в другие сны.

Дед Слава сидел на корме, сгорбившись под старым брезентовым плащом. Ему было за восемьдесят, но руки у него не дрожали. Он вообще не шевелился, только смотрел на свой поплавок немигающим, тяжелым взглядом.

— Браконьеры сети ночью ставили, — буркнул я, разминая затекшую шею. — Всю рыбу выгребли.

Дед Слава медленно повернул голову. В тумане его лицо казалось вырезанным из старого, потемневшего дуба.

— Сети… — протянул он, и в голосе его прозвучала насмешка. — Сетями ловят мясо. А мы, Вовка, за душой пришли.

Он достал из внутреннего кармана плаща не хлеб и не червей. Он достал маленький, замотанный в чистую тряпицу берестяной туесок. Открыл его. Внутри, пересыпанные крупной серой солью, лежали три щепотки чего-то темного, похожего на сушеный мох.

— Сиди тихо, — сказал дед. — И рот закрой. Комаров напустишь.

Он взял одну щепотку, зажал в сухих, черных пальцах и поднес ко рту. Туман вдруг стал плотнее. Исчезли все звуки: плеск воды о борт, далекий гудок поезда на станции, кашель соседа в лодке неподалеку. Мир выключили, оставив только нас и серую стену.

Дед Слава не шептал. Он говорил в воду. Голос его не отражался от поверхности, а уходил вглубь, как камень. И это был не русский язык. Слова были гортанные, перекатывающиеся, похожие на то, как перекатывается галька в ручье. Я знал, что это. Пятьдесят лет он учил меня, но я знал только буквы, а он сейчас говорил целыми книгами.

— Круч-ворч, донный царь, хозяин водяной, — говорил дед Слава, и туман начал светлеть, наливаясь изнутри бледно-зеленым, фосфорическим светом. — Не я тебя прошу, а кость моя просит, кровь моя просит. Отдай, что за пазухой держишь, что в омутах прячешь, что под корягами спишь.

Он разжал пальцы. Темный порошок не упал в воду. Он рассыпался в воздухе и медленно, вопреки всем законам физики, опустился на зеркальную гладь. Но вода его не приняла. Там, где упали крупицы, поверхность пошла рябью, как от невидимого дождя, и каждая капля ряби вспыхнула на секунду серебряным огнем.

— Ключи мои булатные, замки мои каменные, — продолжал дед, и его глаза, обычно блекло-голубые, стали желтыми, как у старой совы. — Идите, лещи и язи, плотва и окуни. Не на смерть идите, а на жизнь. Не на сковороду, а в ведро.

Он замолчал.

И тут началось.

Сначала дернулся мой поплавок. Один раз. Я схватился за удилище, но дед положил свою тяжелую, как гиря, ладонь мне на запястье.

— Не трожь. Это он примеряется.

Поплавок кивнул еще раз и плавно, без единого всплеска, ушел под воду. Не утонул, а именно ушел, как подводная лодка. Я подсек по инерции, хотя дед все еще держал меня за руку. Удилище согнулось в дугу. Леска, ноль-восемнадцать, зазвенела туго натянутой струной.

То, что я вытащил, не было лещом. Это был золотой язь, цвета червонного старого золота, с глазами, которые смотрели на меня осознанно, с укором и любопытством. Он не бился. Он висел на крючке с достоинством римского патриция, которого ведут на казнь, и он согласен с приговором.

А потом мир сошел с ума.

Поплавок соседа справа — тракториста Петьки — подпрыгнул и вылетел из воды на полметра, воткнувшись в деревянную лавку. Петька заорал благим матом. Слева лодка деда Егора накренилась так, что черпанула бортом воду — у него на леске повисла огромная, извивающаяся масса.

Но в нашей лодке это было страшнее всего. Поплавки не просто ныряли. Они летали над водой, как стрекозы. Крючки впивались в чешую сами собой. Рыба не клевала. Она шла на зов. Она прыгала через борт, тяжело шлепаясь на дно лодки. Лещи, тяжелые, как речные булыжники. Язи, бьющие хвостами по ногам. Окуни, растопырившие свои ядовитые красные плавники.

За двадцать минут дно нашей лодки покрылось живым, шевелящимся серебром. Рыба лежала в два слоя, она задыхалась, но продолжала смотреть на деда Славу.

— Хватит, — сказал дед. Голос его снова стал обычным, скрипучим, старческим. — Дышать им нечем.

Он махнул рукой в сторону реки. И в то же мгновение клев прекратился везде. Словно кто-то выключил рубильник. Поплавок Петьки безвольно лег на воду. Дед Егор сидел, уронив руки, и смотрел на свой пустой крючок.

Мы гребли к берегу в мертвой тишине. Когда мы ткнулись носом в песок, туман над рекой начал стремительно таять, открывая багровое, разбухшее солнце.

На берегу уже собирались мужики. Они смотрели на нашу лодку, на два полных оцинкованных ведра, доверху забитых отборной рыбой, на наши пустые, спокойные лица.

— Слава, — хрипло спросил Петька, вытирая грязным рукавом пот со лба. — На что брал? На кашу? На мотыля? У меня глухо, как в танке. У всей деревни — болт.

Дед Слава тяжело выбрался на берег, крякнул, разогнув спину. Посмотрел на реку, которая снова стала просто рекой — серой, равнодушной, утренней.

— На что… — повторил он, закуривая свою самокрутку. Дым пах полынью и сгоревшими письмами.

— На то, Вовка, что у них внутри. На память. Рыба, она ведь, сынок, всё помнит. Помнит, как мамонты на водопой ходили, помнит, как первый человек огонь добыл. Они там, на дне, от тоски мрут. Им скучно. А я им пообещал, что на сковородке они увидят солнце. Настоящее, жаркое. Они сами пришли. Погреться напоследок.

Он взял ведра, тяжело вздохнул и пошел в сторону дома, оставляя на мокром песке глубокие, рубчатые следы от резиновых сапог. А мужики на берегу так и остались стоять, глядя то на свои мертвые поплавки, то на широкую спину старого колдуна, который умел разговаривать с тоской.

Мальчик

Август в селе Казинка всегда пахнет пылью, переспелой антоновкой и близким, уже дышащим в затылок сентябрем.

В тот год август пах больницей.

Больница была далеко, в Воронеже, и оттуда дед с бабкой привезли не лекарства — лекарства кончились еще в июле, — а бумажку с латинскими буквами, от которой пахло формалином и безнадежностью.

Мальчика звали Ленька. Ему было девять. Он лежал на высокой железной кровати в горнице, и с каждым днем становился все прозрачнее. Кожа его стала тонкой, как пергамент, сквозь который на висках и шее синими реками проступали вены. Он уже почти не говорил, только смотрел в потолок выцветшими, огромными глазами.

Сельчане ходили на цыпочках, говорили шепотом и смотрели на Ленькины окна так, будто оттуда уже тянуло могильным холодом. И только дед Слава, которого за глаза звали Колдуном, а в глаза — Вячеславом, ходил по своей завалинке как обычно, рубил дрова и дымил едкой самосадной махоркой.

В среду, когда Ленька перестал узнавать даже мать, бабка, повязав на голову черный траурный платок, сама пошла к деду Славе. Шла она не по улице, а задами, через огороды, чтобы никто не видел ее позора.

Дед Слава сидел на колоде и тесал осиновое полешко, превращая его в гладкую, белую ложку.

— Федорыч, — сказала бабка, и голос ее сорвался. — Всё. Кончается Ленька-то. Может… может, того? Твоего?

Дед Слава не поднял головы. Он продолжал срезать с осины тонкую, пахнущую горечью стружку.

— Мое — оно дорогое, Петровна, — сказал он в дерево. — Дороже, чем все ваши таблетки, вместе взятые. Платить чем будешь? Ленькиной памятью? Или твоими снами?

— Да забери всё! — закричала бабка, упав на колени прямо в пыль. — Забери хворь, старый черт! Забери меня! Мальчонку только оставь!

Дед Слава отложил нож. Посмотрел на бабку долго, тяжело, словно взвешивая ее на невидимых весах.

— Болезнь, Петровна, она не в легких сидит. И не в крови. Она в памяти живет. В его памяти. Он там, внутри себя, заблудился. У него там, в голове, одна и та же ночь зациклилась, где ему больно и страшно. Вытащить его надо. Выкупить.

В ту ночь дед Слава не спал. Он сидел в своей бане, которая стояла на самом краю оврага, и перебирал сухие травы. Пахло зверобоем, полынью и чем-то еще, древним, как сама земля.

Он пришел к ним перед самым рассветом. Солнце еще не встало, но небо на востоке стало цвета разбавленного вишневого сока. Дед Слава вошел в горницу, и с его появлением воздух сгустился. Стало трудно дышать.

На стуле у кровати сидела Ленькина мать, похожая на черную, сгоревшую птицу. Дед Слава молча взял ее за плечи и пересадил к двери.

— Смотреть можно, — сказал он. — Мешать — нельзя.

Он подошел к кровати. Ленька лежал с открытыми глазами. Он не спал, но и не бодрствовал. Он был где-то посередине, на тонкой грани.

Дед Слава достал из-за пазухи не шприц, а маленький кожаный мешочек. Оттуда он извлек три вещи: клубок суровых красных ниток, старую, почерневшую от времени костяную пуговицу и щепотку серой соли.

Он расстегнул на Леньке ветхую ситцевую рубашонку.

— Тише, — сказал дед мальчику, хотя тот и так не издавал ни звука. — Сейчас мы с тобой погуляем.

Дед Слава взял красную нить. Он не стал обвязывать ею запястья. Он начал обматывать Леньку. Нить ложилась крест-накрест: от левого плеча к правому бедру, от правого плеча к левому. Дед оплетал мальчика, как паук оплетает муху, — туго, но бережно, не касаясь кожи, оставляя зазор в полпальца. Красная паутина на бледном, почти синем теле выглядела жутко и неестественно.

— Это тропинка, — бормотал дед Слава, затягивая узел на Ленькиной груди, прямо над сердцем. — Чтобы обратно выйти. А то ведь там, внутри, такие буреломы…

Затем он взял костяную пуговицу. Она была теплой, хотя лежала в холодном мешочке. Дед прижал ее к Ленькиному лбу, чуть выше переносицы.

— Смотри сюда, — сказал он, и глаза его вдруг стали желтыми, как у рыси. — Смотри в кость.

И Ленька посмотрел.

Его глаза, до этого пустые, вдруг сфокусировались. Зрачки расширились, поглотив почти всю радужку. Губы мальчика дрогнули.

— Дед? — прошептал он. Голос был не его, а какой-то глубокий, гулкий, словно доносился из колодца.

— Пойдем, — кивнул дед Слава. — Показывай, где болит.

Для всех в комнате ничего не изменилось. Только дед стоял, прижимая кувшинную пуговицу ко лбу мальчика, и губы его беззвучно шевелились. Но внутри Леньки в этот момент рушились миры.

Дед Слава вошел в его память. Болезнь была там. Она выглядела не как вирус и не как опухоль. Она выглядела как огромный, черный, склизкий паук, который сплел кокон вокруг Ленькиного сердца.

Паук был соткан из Ленькиного собственного страха — страха уколов, страха белого потолка, страха того, что мама плачет по ночам. Болезнь питалась этим страхом и росла, высасывая из мальчика жизнь.

— Ага, — сказал дед Слава вслух. — Вот ты где, погань.

Он не стал рвать паука руками. Он достал из кармана щепотку соли.

Соль в его пальцах вспыхнула ослепительным, белым светом, нестерпимым для глаз. Дед размахнулся и швырнул соль прямо в центр черного кокона.

Паук не закричал. Он просто осыпался. Черная слизь зашипела, как на раскаленной сковороде, и испарилась, оставив после себя лишь запах озона и мокрого железа.

Дед Слава взял Леньку за руку — за ту самую руку, сквозь которую еще вчера просвечивали кости — и повел обратно. Они шли по красной нити, которая светилась в темноте его памяти, как раскаленная проволока.

Когда они вышли, дед отнял пуговицу ото лба мальчика.

Ленька глубоко, со свистом втянул воздух. Так вдыхают люди, вынырнувшие из-подо льда. Он закашлялся. Кашель был мокрым, тяжелым, но это был кашель живого человека.

Дед Слава начал разматывать красную нить. Она больше не была красной. Она стала серой, пепельной, и когда дед бросил ее в печь, она вспыхнула и сгорела за долю секунды без остатка, не оставив даже дыма.

Солнце наконец-то пробилось сквозь ставни и ударило золотым лучом в пол.

Ленька повернул голову на подушке. Посмотрел на мать. И улыбнулся.

— Мам, — сказал он. Голос был слабым, хриплым, но совершенно ясным. — Дай пить. Во рту сухо, как в печной трубе.

Бабка, сидевшая у двери, издала звук, похожий на треск ломающегося дерева, и сползла на пол.

Дед Слава молча подошел к столу, налил в кружку воды из кувшина, подошел к кровати и сам поднес ее к Ленькиным губам.

— Пей, — сказал он. — И спи. Теперь можно.

Он вышел на крыльцо, сел на ступеньки и закурил. Небо над Казинкой стало пронзительно-синим. Дед Слава сидел, щурился на солнце и смотрел, как в его пальцах истлевает, превращаясь в пепел, последняя крошка серой соли. Болезнь ушла. Взамен дед Слава забрал у мальчика десять лет жизни. Но об этом в селе узнают только через десять лет, когда дед Слава просто не проснется однажды утром, и на его морщинистом лице застынет выражение глубокого, спокойного удовлетворения.

Гангрена

Августовская ночь в селе Казинка пахла пылью, остывающей землей и близким, уже дышащим в затылок дождем. В доме Владимира, сына деда Славы, пахло иначе. Там пахло карболкой, страхом и смертью.

Маленькая Анютка лежала на высокой кровати, укрытая до подбородка лоскутным одеялом. Ей было семь лет. Правая рука, обмотанная грязными, пропитанными сукровицей бинтами, лежала поверх одеяла. Дед Слава сидел на табурете в ногах у кровати. Его сын Владимир стоял у окна, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник так, что побелели костяшки. Он смотрел не на дочь, а на свое отражение в черном стекле.

— Врачи в районе сказали — рубить, — голос Владимира был хриплым, сорванным от крика и бессонных ночей. — Выше локтя. Говорят, сепсис пойдет. Говорят, до утра не доживет.

Гангрена на мизинце Анютки не была похожа на болезнь. Это была черная, сухая мумификация. Палец стал цвета старого угля, он сморщился и был холодным, как речная галька, хотя лоб девочки горел от жара. Чернота уже начала перебираться на следующий палец, словно не спеша, с хозяйской уверенностью ползла по руке.

— Рубить — оно всегда успеется, — сказал дед Слава, не поворачивая головы. Он смотрел на черный палец внучки. — Дерево рубят, Владимир. А это — плоть. Память. Кровь.

— Батя, я тебя умоляю, — Владимир отвернулся от окна. По его небритой щеке текла слеза, теряясь в седой щетине. — Я не могу. Я не умею. Я всю жизнь на тракторе. Я железо чиню. Ты же можешь… Ты всегда мог. Сделай что-нибудь. Я на колени встану.

— На колени передо мной падать не надо, — медленно проговорил дед Слава. — Перед ней падай. Перед болезнью падай. А мне руки нужны. Твои. Я старый. Мои руки уже сами скоро в землю просятся. Я могу только научить. Бери табурет. Садись сюда.

Владимир, пошатываясь, подошел и сел на табурет рядом с кроватью. Он смотрел на свои огромные, пахнущие соляркой и мазутом ладони. Они казались ему орудиями пытки.

— Слушай меня, — дед Слава наклонился вперед, и в полумраке комнаты его глаза блеснули желтым, звериным огнем. — Гангрена — это не просто гниль. Это Пустота. Она любит железо, любит холод и любит страх. Она жрет железо твоей крови. Чтобы ее выгнать, нужно железо, но другое. Старое.

Дед поднялся, подошел к печи и достал из-за заслонки завернутый в холстину предмет. Когда он развернул ткань, в комнате запахло окалиной и веками. Это был старый, кованый гвоздь. Не ржавый, а именно черный, прокаленный, с неровной, ручной шляпкой. Таким, наверное, сколачивали Ноев ковчег.

— Это осина, — сказал дед, хотя гвоздь был железным. — И это могильная земля. Я его заговорил еще в пятьдесят втором, когда твой старший брат от столбняка загибался.

Дед протянул гвоздь Владимиру.

— Бери. Не бойся. Она не кусается. Кусается то, что внутри.

Владимир взял гвоздь. Металл был ледяным, хотя лежал в горячей печи.

— Что делать? — прошептал он.

— Ничего сложного, — усмехнулся дед, обнажая десны. — Мы будем ее шить.

Он взял руку Анютки. Девочка застонала во сне, но не проснулась.

— Смотри внимательно, сын. И делай как я. Мы не будем резать. Резать — это война. А мы ее обманем. Мы зашьем ей Пустоту.

Дед Слава взял гвоздь двумя пальцами. Он не стал срывать бинты. Он просто приложил холодный черный металл к почерневшему мизинцу, чуть выше того места, где заканчивалась гниль.

— Говори за мной, — приказал дед. — И думай не о том, как ей больно. Думай о том, как гвоздь хочет пить. Он жаждет. Он тысячу лет стоял в сухой древесине и хочет влаги.

Владимир сглотнул. Его рука, держащая гвоздь, ходила ходуном.

— Я… я не помню слов, батя.

— Не головой помни, — рявкнул дед Слава. — Сердцем помни. Кровью. Говори: Кость к кости, жила к жиле, железо к гнили.

Владимир повторил. Голос его сорвался.

И в тот момент, когда слова коснулись воздуха, случилось невозможное. Черный гвоздь в его пальцах дрогнул. Он не просто прижался к пальцу — он вошел в него. Без удара, без крови. Черное железо медленно, с сухим треском, погрузилось в почерневшую плоть, как в мягкий воск.

Анютка вскрикнула и распахнула глаза. Но она смотрела не на отца. Она смотрела на гвоздь. И в ее глазах не было боли. Там было удивление.

— Не останавливайся, — прохрипел дед Слава. Его лицо покрылось испариной, он сам стал бледным как мел. — Веди. По границе. Отсекай мертвое от живого.

Владимир повел. Гвоздь чертил невидимую линию вокруг черного пятна. Там, где проходил холодный металл, кожа, секунду назад бывшая цвета сажи, вдруг начинала розоветь. Гниль отступала, оставляя после себя чистую, бледную, но живую плоть. Черная корка на пальце начала сохнуть, скручиваться и с тихим шелестом осыпаться на простыню черной пылью.

— Дальше! — командовал дед. — Вглубь! Выжигай корень! Железо берет свое, вода забирает чужое!

Владимир навалился на гвоздь всем весом своего отчаяния. Он чувствовал, как металл в его руке становится горячим. Гангрена сопротивлялась. Она тянула гвоздь на себя, пытаясь забрать его силу. Владимиру казалось, что он держит не кусок железа, а живую, бьющуюся змею.

— Батя, она тянет! — выдохнул он.

— Это она сдыхает! — крикнул дед Слава. — Держи! Дай я помогу!

Старик положил свою сухую, невесомую ладонь поверх кулака сына. И через их соприкосновение хлынула Сила. Та самая, что пятьдесят лет ворочала реки и заговаривала кровь. Комната на секунду исчезла в ослепительной вспышке. Запахло озоном, как после удара молнии.

Когда Владимир открыл глаза, всё было кончено.

Гвоздь лежал на белой тряпице. Он снова был просто старым куском железа, покрытым копотью.

Палец Анютки был цел. Полностью. Мизинец был бледным, с четким розовым ноготком. Никакой черноты. Никакой гнили. Только тонкий, едва заметный шрам, похожий на ожог от сигареты, опоясывал палец у самого основания — граница, которую провел гвоздь.

Девочка дышала ровно. Жар спал. Она повернулась на бок и засопела, подложив под щеку обе ладони — совершенно здоровую левую и спасенную правую.

Дед Слава тяжело опирался на стол. Его трясло. Лицо стало серым, как пепел в печи.

— Всё, — прошептал он. — Вытащили.

Владимир смотрел на свои руки. Они больше не пахли соляркой. От них шел запах грозы и раскаленного металла. Он посмотрел на отца.

— Батя… ты…

— Тихо, — дед Слава слабо махнул рукой. — Иди. Ляг на пол. У двери ляг. Если она позовет — ты должен быть рядом. Железо теперь в ней сидит. Оно ее охраняет. Но ей будет сниться кузница. Не пугайся.

Владимир опустился на пол, прямо на потертый коврик, и положил голову на порог. Сон сморил его мгновенно, тяжелый, каменный сон человека, который только что голыми руками вытащил дочь с того света.

А дед Слава остался сидеть на табурете. Он смотрел на спящую внучку и медленно, методично растирал свою левую сторону груди. Там, под старой рубахой, сердце колдуна давало сбой, отдавая остаток своего огня за холодный блеск кованого гвоздя.

Псориаз

Сентябрь в Казинке пахнет горьким дымом и яблоками, которые падают в траву и начинают бродить, превращаясь в сидр. Воздух становится прозрачным и звонким, и в этой звонкости издалека, со стороны большака, послышался звук, которого здесь не слышали лет сорок — натужный рев мотора, задыхающегося на подъеме.

Во двор деда Славы, где на веревках сохли веники из зверобоя и полыни, въехал черный, лакированный автомобиль. Из него, кряхтя и отдуваясь, вылез человек.

Он был закутан в плотный брезентовый плащ, на голове — широкополая шляпа, на руках — тонкие кожаные перчатки, хотя солнце грело по-летнему. Человек снял шляпу, и дед Слава, вышедший на крыльцо с топором в руках, замер.

Голова приезжего была покрыта не волосами, а сплошной, лоснящейся коричневой коркой. Она спускалась на лоб, на шею, уходила под воротник рубашки. Кожа на лице была натянута так туго, что, казалось, еще немного — и треснет, как пересохшая глина на дне летней лужи. Губы человека были белыми, бескровными, а глаза — воспаленными, красными щелками, полными такой застарелой, привычной муки, что дед Слава невольно опустил топор.

— Вы… вы Слава? — голос приезжего был похож на скрежет наждачной бумаги. — Вячеслав?

— Смотря кто спрашивает, — ответил дед. — И смотря зачем.

— Меня зовут Аркадий. Я из Москвы. Я… я умираю.

Дед Слава посмотрел на черный автомобиль, на шофера, который сидел, не смея закурить, на этого покрытого коростой москвича.

— Смерти я не продаю, — сказал дед. — Она сама приходит, денег не берет.

— Мне не нужна смерть, — Аркадий шагнул вперед, и дед увидел, что плащ скрывает не только руки. Вся фигура человека была какой-то скованной, деревянной. — Мне нужна жизнь. Я отдал все деньги лучшим клиникам. Швейцария, Израиль, Германия. Они мажут меня нефтью и жгут кожу лазером. Они сдирают с меня корку, и под ней оказывается мясо. Живое, орущее мясо. А через неделю корка нарастает снова. Толще. Тверже. Я не могу спать. Я не могу лежать. Я сижу в кресле, потому что если я прикоснусь щекой к подушке, она прилипнет. Я — ходячий панцирь.

Дед Слава долго молчал, глядя на реку Матыру, которая лениво текла за огородами. Вода в ней в сентябре густая, темная, как расплавленный гудрон.

— В дом иди, — наконец сказал дед. — И плащ свой сними. Жарко же.

— Я не могу, — прошептал Аркадий. — Ткань присохла к локтям. Если я дерну — пойдет кровь.

Дед Слава вздохнул, подошел к москвичу и одним резким, профессиональным движением мясника или старого хирурга дернул полу плаща. Раздался сухой треск, как рвут картон. Аркадий вскрикнул. На внутренней стороне плаща остались лоскуты его кожи, а на локтях выступила густая, желтоватая сукровица.

— В баню пойдем, — сказал дед. — Не в избу. В бане чище.

Баня деда Славы стояла на самом краю оврага. Внутри пахло березовым дегтем и сыростью.

— Садись на полок, — скомандовал дед. — И не дыши.

Он вышел и вернулся с ведром. Вода в нем была не прозрачной. Это была густая, черная жижа — ил со дна Матыры. Дед зачерпнул горсть этой грязи. Она пахла сероводородом, древними ракушками и чем-то еще, не имеющим названия. Запахом начала времен.

— Псориаз, — сказал дед, разминая грязь в ладонях. — Красивое слово. Означает «чесотка». Но у тебя не чесотка. У тебя тоска, которая окаменела. Ты слишком долго сидел

в своих городах, Аркадий. Ты дышал камнем и стеклом. Твоя кожа забыла, что она — земля. Она решила стать броней.

— Мажьте, — прохрипел Аркадий, закрывая глаза. — Мажьте, ради бога. Хуже не будет.

— Хуже? — дед Слава усмехнулся, обнажая стальные зубы. — Хуже — это когда лучше некуда.

Он начал обмазывать Аркадия грязью. Не тонким слоем, как в санаториях. Он мазал щедро, как маляр — забор. Черная масса покрывала коросту, скрывая белые, воспаленные пятна здоровой кожи. Аркадий застонал, но на этот раз не от боли. От холода. Ил со дна Матыры был ледяным.

— Терпи, — сказал дед. — Это не грязь. Это память. Там, на дне, лежат мамонты. Там лежат скифские стрелы. Там лежит всё, что было до нас. И она знает, какой должна быть настоящая кожа.

Когда дед закончил, Аркадий стал похож на статую, вылепленную из первобытной глины. Видны были только красные, воспаленные глаза и полоска белых, искусанных губ.

— Теперь сиди, — велел дед Слава. — Пока не потеплеет. Пока не начнет печь.

Дед ушел, оставив москвича одного в полутемной бане.

Сначала Аркадий ничего не чувствовал, кроме холода. Но потом ледяная жижа начала нагреваться. Не от воздуха. Сама по себе. Она начала пульсировать. Аркадий с ужасом смотрел на свои руки. Черная корка из ила… шевелилась. Ему казалось, что под ней ползают тысячи мелких, мягких червей.

Он хотел закричать, хотел соскрести эту дрянь, но руки не слушались. Тепло становилось нестерпимым. Оно проникало сквозь грязь, сквозь старую корку, сквозь саму боль.

И тогда началось самое страшное.

Старая короста, которую он носил годами, начала зудеть. Но это был не зуд болезни. Это был зуд заживления.

С громким, сухим треском, похожим на звук ломающегося пересохшего дерева, панцирь на его груди лопнул.

Черная грязь, которой его обмазал дед, начала втягивать в себя отпадающие куски. Ил на глазах темнел, становился тяжелее, в нем появлялись блестки — чешуйки старой кожи Аркадия. Грязь ела его болезнь. Она поглощала его десятилетний кошмар, переваривала его, превращая в обычную, безжизненную землю.

Аркадий сидел, обхватив колени, и плакал. Слезы текли по его лицу, промывая дорожки в коричневой корке, и падали на колени. Каждая слеза, касаясь грязи, издавала тихое шипение.

Дед Слава вернулся через час. Он принес чистое льняное полотно и ведро теплой, пахнущей ромашкой воды.

— Ну, показывай, что там у тебя, — сказал он буднично, как будто чистил рыбу.

Он начал смывать грязь. Она сходила пластами, как старая штукатурка со стены.

Под первым слоем открылся второй. Но это уже не был панцирь. Это была влажная, розовая, новорожденная кожа.

Дед смывал черную жижу Матыры, и вместе с ней смывалась история болезни Аркадия. Плечи, спина, руки — они становились живыми. Кожа была нежной, как у младенца, покрытой легким пушком, и она дышала.

Когда дед дошел до лица, Аркадий зажмурился.

Дед плеснул теплой водой, стер остатки ила.

Аркадий открыл глаза. Он посмотрел на свои руки. Они были бледными, человеческими, с голубоватыми прожилками вен. Он пошевелил пальцами. Они слушались. Он коснулся щеки. Она была мягкой. Он ущипнул себя. Больно. Слава богу, больно.

— Баня, — сказал дед Слава, выливая остатки грязной воды под старую яблоню. — Яблоня любит боль. Теперь расти будет, как бешеная.

Аркадий сидел на пороге бани. Солнце садилось, окрашивая реку в цвет крови. Он дышал. Он вдыхал запах дыма, яблок и мокрой псины, и легкие его, казалось, расширялись, заполняя всю грудную клетку.

— Сколько я вам должен? — спросил он, не глядя на деда.

— Сними плащ, — ответил дед Слава. — Тот, рваный. Оставь здесь. И машину свою забери. Нечего ей тут делать, она железом воняет, раздражает. Садись на поезд.

— Но… как же вы…

— А никак, — дед махнул рукой. — Та грязь, что я на тебя извел, она теперь пустая. Я ее с тебя соскреб, а она обратно в Матыру ушла. Оседать. Копить новую память. Через сто лет там опять нарастет. А мне… мне достаточно того, что ты теперь можешь спать на подушке. Иди. В поезде окно открой. Пусть ветер дует.

Аркадий, пошатываясь, пошел к калитке. Он шел по росистой траве босиком, забыв свои дорогие ботинки в машине. Он шел, и его кожа впитывала холод сентябрьской ночи, и это было самое большое счастье, которое он когда-либо испытывал.

А дед Слава остался стоять на крыльце. Он смотрел на рваный брезентовый плащ, брошенный на лавке. От плаща все еще пахло страхом и больницей. Дед взял его двумя пальцами, отнес к печи и бросил в огонь. Плащ вспыхнул мгновенно, сгорел без остатка, не оставив даже пепла, словно его и не было. И в избе снова запахло только зверобоем, яблоками и вечной, терпкой осенью.

Ходячий

Сентябрь в Казинке — это время, когда земля начинает забирать тепло обратно. Днем еще печет, но как только солнце касается верхушек старых ракит у кладбища, воздух становится стеклянным и хрупким.

Дед Слава пришел на погост не скорбеть. Он пришел чинить. Старый погост осыпался, кресты покосились, а время, как дурная вода, подмывало могилы. Дед принес с собой молоток, горсть ржавых гвоздей и фляжку с самогоном, настоянным на девяти травах.

Он работал споро, но молча. Для деда Славы мертвые не были «покойниками».

Покой — это когда ничего не происходит. А у мертвых, он знал, хлопот побольше, чем у живых. Им держать на себе тяжесть земли, слушать вечный шепот корней и отвечать за каждое невыплаканное при жизни слово.

Солнце село быстро, словно его выключили. Сразу навалилась лиловая, глухая темнота.

Дед как раз прибивал новую перекладину к кресту на могиле бакенщика Егора, когда услышал шаги.

Шаги были неправильные. Живой человек идет по земле мягко — трава шуршит, подошва пружинит. А эти шаги звучали как удары палки по сухому мху. Тук. Тук. Тук.

Дед Слава не спеша достал кисет, свернул самокрутку, чиркнул спичкой. Огонек высветил из темноты фигуру, стоявшую у старой, провалившейся могилы без креста.

Фигура была одета в брезентовый плащ, такой старый, что казался сотканным из самой ночи. Лицо скрывала тень от капюшона.

— Здорово, Федорыч, — сказал мертвец. Голос у него был ровный, без эха, но такой холодный, что роса на траве, казалось, должна была превратиться в лед.

Дед Слава затянулся. Дым пах полынью и сгоревшими письмами.

— И тебе не хворать, Василий, — ответил он, разглядывая гостя. — Давно не виделись. Лет сорок, поди?

— Тридцать восемь, — уточнил мертвец. — С того дня, как «Москвич» мой в Быстрянке утоп. Ты тогда первый на берегу стоял.

Это был Василий, местный дурачок и рыбак, который в семьдесят четвертом перевернулся на лодке. Тело так и не нашли. Выписали свидетельство о смерти, справили поминки, а через неделю дед Слава видел, как Василий, синий и тяжелый, прошел по дну реки мимо старой плотины, даже не захлебнувшись.

— Пришел проведать? — спросил дед, прибивая последний гвоздь. Крест больше не скрипел. Теперь бакенщику Егору будет удобно стоять.

— Порядок люблю, — сказал Василий. — Смотрю, у тебя тут перекосило всё. Земля осела. Неправильно это. Мертвым прямая спина нужна.

— Так встань да выпрями, — усмехнулся дед. — Земля-то твоя.

— Не могу, — мертвый качнулся. — Меня земля не держит. Я для нее теперь чужой. Она меня выталкивает, как речная вода — пробку. Я хожу по ней, а она подо мной пружинит. Тяжело.

Дед Слава сел на перевернутое ведро. Он смотрел на мертвеца без страха. Страх — это удел живых. Мертвые вызывают только глубокую, бытовую досаду.

— Чего тебе на дне не лежится, Василий? Там же тихо. Там сомы, как бревна, лежат.

— Тихо, — согласился мертвец. — Да пусто. Я там, под илом, всё перепутал. Я думал, смерть — это когда всё заканчивается. А она, Федорыч, это когда всё начинается. Только начинается оно не для тебя, а для самой смерти. Она тобой живет.

Он сделал шаг вперед. Из-под плаща высунулась рука. Дед Слава невольно отпрянул, но тут же устыдился своего страха.

Рука Василия не была костлявой. Она была набухшей, белой, как долго пробывший в воде хлеб. Пальцы были неестественно длинными, а ногти отросли и закрутились в спираль, как корешки хрена.

— Я пришел спросить, — сказал мертвец, и в его голосе впервые послышалась вибрация, похожая на стон. — Как это? Когда тепло?

Дед Слава поднял брови.

— Ты ж в плаще. Замерз?

— Я не чувствую холода, — покачал головой Василий. — Я вообще ничего не чувствую. Ни голода, ни жажды, ни боли. Только тяжесть. И память. Я помню, как пахнет горячий хлеб. Помню, как жжется крапива. Помню тепло твоей Светки, когда она обнимала тебя у калитки. Я всё это помню, но мне от этого только хуже. Это как смотреть на еду через витрину, когда у тебя вырезали желудок.

Он подошел совсем близко. От него пахло не тленом. От него пахло сырой нефтью, речным илом и озоном — запахом, который бывает в воздухе за секунду до удара молнии.

— Дай мне, — попросил мертвец. — Хоть каплю.

Дед Слава понял. Он медленно достал из кармана телогрейки фляжку. Отвинтил крышку. По ночному воздуху поплыл густой, хлебный, травяной дух жизни.

— Это не вода, Василий, — предупредил дед. — Это огонь. Выпьешь — сгоришь. Окончательно. Обратно в землю запросишься.

— Пусть, — сказал мертвец. — Хоть на пять минут. Хоть вспомнить, как это — когда внутри горит.

Дед Слава вздохнул. Он посмотрел на луну, которая только что выкатилась из-за туч и осветила кладбище холодным серебром.

— Ладно, — сказал он. — Только не всё. А то ты тут по селу бегать начнешь, народ пугать.

Он протянул фляжку. Мертвец взял ее своими белыми, бескостными пальцами. Рука его дрожала. Он поднес горлышко к тому месту, где у живого человека должен быть рот.

Он не пил. Он просто прижал металл к лицу.

И в то же мгновение дед Слава увидел, как плащ Василия пошел паром. Белая, водянистая плоть мертвеца начала стремительно сохнуть. Кожа натянулась, пожелтела, пошла глубокими морщинами. Пальцы, державшие фляжку, скрючились и стали похожи на сухие осенние листья.

Мертвец запрокинул голову. Из его пустой грудной клетки вырвался звук — долгий, счастливый вздох. Он не выпил ни капли, но самогон забрал его влагу, его небытие, превратив ходячую слизь обратно в старое, иссушенное временем дерево.

— Ох… — выдохнул Василий. Голос его стал шуршанием песка. — Тепло… Спасибо, Федорыч.

Он разжал пальцы. Сухая, мумифицированная рука упала вдоль тела. Мертвец качнулся, сделал шаг назад и просто осел. Он не упал, как падает человек. Он сложился, как складной метр, превратившись в кучу старой одежды и сухих костей.

Дед Слава подошел. Перед ним лежал обычный скелет в брезентовом плаще. Никаких белых рук, никаких черных глаз. Просто кости.

Дед поднял фляжку. Она была пуста.

Он посмотрел на луну, отхлебнул из горла остатки — там было на один хороший глоток — и крякнул.

— Ну вот, — сказал он в темноту. — А ты боялся.

Он закрутил крышку. Посидел еще минуту, глядя на то, что осталось от Василия.

— Землю я тебе завтра принесу, — пообещал дед. — Хорошую, черную. С огорода. Чтоб держала. А то ходишь тут, порядок портишь.

Дед Слава поднялся, взял ведро с гвоздями и пошел к выходу с кладбища. За спиной у него было тихо. Только старый крест бакенщика Егора чуть слышно поскрипывал, устраиваясь поудобнее в остывающем сентябрьском воздухе.

Воры

Ночь на Покров в Казинке выдалась темная, беззвездная. Дождь, моросивший с вечера, к полуночи выдохся, оставив после себя запах мокрой псины, прелых листьев и холодной, жирной земли. Дед Слава не спал.

Он сидел на низенькой скамеечке в сенях, перебирал в руках сухую осиновую лучину и слушал тишину.

Тишина была неправильная.

Собака Полкан, обычно брехливая и злая, как сто чертей, молчала уже второй час. Дед Слава знал: если Полкан молчит — значит, во дворе чужой. Не просто прохожий, а чужой по своей сути. Тот, кто не идет в гости, а идет брать.

Скрипнула калитка. Дед не пошевелился. Он только перестал дышать, и тишина в сенях сгустилась до состояния старой смолы.

На крыльце послышались тяжелые, осторожные шаги. Три человека. Они ступали по старым доскам, стараясь не шуметь, но для деда Славы их сапоги гремели, как пустые ведра в колодце.

Дверь в сени приоткрылась без скрипа — они ее смазали. В проеме показалась тень.

— Спит, кажись, — прошептал голос, пахнущий табаком и мокрой овчиной. — Старый совсем.

— Тем лучше, — ответил второй, гнилозубый. — Берем, что в сенях: мед, самогон, вяленую рыбу. И в избу. У него там иконы старые, говорят.

Они вошли. Первый шагнул в темноту, второй — за ним. Третий остался на крыльце, карауля.

Дед Слава сидел неподвижно, глядя в пустоту перед собой. Когда первый вор поравнялся с ним, переступая порог из сеней в избу, дед Слава резко дунул на лучину.

Это был не просто выдох. Это был порыв ледяного ветра.

Лучина вспыхнула не огнем, а мертвенно-зеленым светом, на секунду осветив лицо деда — желтое, костяное, с провалами вместо глаз.

Воры замерли.

— Господи, помилуй, — выдохнул гнилозубый, пятясь и роняя мешок.

— Не помилует, — спокойно сказал дед Слава. Голос его был тихим, но заполнил собой всю избу, вытеснив воздух. — Вы куда пришли, ироды? Вы в мой дом вошли. А мой дом — это часть меня. Вы сейчас по моей печени топчетесь.

— Дед, ты того… не балуй, — просипел первый вор, пытаясь нащупать за голенищем нож. — Мы люди подневольные. Дай уйти.

Дед Слава медленно поднялся. Он был сухоньким, маленьким, но в этот момент показался им огромным, заполнившим собой всю низкую горницу. Он не смотрел на них. Он смотрел сквозь них, на стену, где висели старые ходики, хотя часы давно стояли.

— Уйти? — переспросил дед. — Куда ж вы пойдете? Ночь на дворе. Грязь. А у вас ноги есть. Хорошие, крепкие ноги.

Он сунул руку в карман своего ветхого армяка и достал клубок суровых, красных ниток. Тот самый клубок, которым еще его прадед обвязывал пуповины младенцам и заговаривал грыжу.

— Стоять, — сказал дед.

И в ту же секунду ноги воров приросли к полу. Не вросли в доски, нет. Они просто… стали частью пола. Сапоги, портки, кожа — всё слилось с истоптанными половицами. Мужики стояли, вытаращив глаза, не в силах сделать ни шагу. Они могли поворачивать головы, могли шевелить руками, но земля их не отпускала.

— Что ж ты делаешь, старый черт! — взвыл гнилозубый, пытаясь дернуться. — Отпусти! Христом Богом прошу!

— Богом просишь, а в церковь не ходишь, — покачал головой дед Слава. — Нехорошо.

Он подошел к гнилозубому. Тот зажмурился, ожидая удара. Но дед не ударил. Он достал из кармана маленький, острый ножик для очинки перьев.

— Руки давай, — скомандовал дед.

— Какие руки?! Ноги отпусти, изверг!

— Руки давай, говорю. А то они у тебя к бокам примерзнут. Будешь до весны так стоять, ворон кормить.

Дрожащими руками вор протянул ладони. Дед Слава ловко, как вяжут снопы, перехватил его запястья красной нитью. Он не просто завязал узел. Он вязал науз — сложный, путаный узел, шепча при этом слова, которых нет ни в одной книге. Слова были шершавые, колючие, они цеплялись за горло.

— Нога к земле, рука к узлу, слово к слову, злой к козлу. Куда ни пойдешь — все ко мне придешь. Стоять тебе здесь, пока я не скажу, лежать тебе здесь, пока я не развяжу. Земля тебя держит, нить тебя вяжет, мой дом тебя стережет.

Он перешел ко второму вору. Тот уже не кричал, только скулил, глядя, как его сапоги медленно, но неотвратимо уходят в сухие доски пола на полвершка. Дед связал и его.

Третий, что стоял на крыльце, услышав тишину вместо криков, понял дело плохо. Он рванул к калитке.

Дед Слава даже не повернул головы. Он просто плюнул на пол.

Слюна, упав на половицу, зашипела и начала разрастаться. Она не растеклась лужей. Она вытянулась в тонкую, прозрачную, но прочную, как сталь, паутину, которая мгновенно затянула дверной проем.

Третий вор с разбега влетел в эту невидимую стену. Удар был такой силы, что его отбросило назад, на ступени крыльца. Он попытался встать, но ноги его подкосились — земля крыльца тоже начала его неохотно принимать.

В избе стало тихо. Слышно было только, как тяжело, со свистом дышат воры, да потрескивает фитиль в лампе.

— Отпусти, — прохрипел гнилозубый. Слезы и сопли смешались на его лице. — Всё отдадим. Деньги есть. Под стрехой в сарае. Золото есть. Только не губи, дед. Дети у меня.

— Дети, говоришь? — дед Слава подошел к нему вплотную. Глаза старика в зеленом свете лучины казались бездонными. — А у бакенщика Егора, которого вы прошлой весной на реке до смерти напугали, тоже дети. А у него жена парализованная. Вы к нему в лодку лезли, думали, он один.

Воры побелели. Они поняли, что старик знает всё. Не догадывается — знает.

— Вы не просто воровать пришли, — продолжал дед, и голос его становился всё тише, всё страшнее. — Вы мою тишину украсть хотели. Мой сон. Мой покой. А покой, сынки, он дороже золота. За него платить надо не деньгами.

— Чем?! — взвизгнул второй вор. — Чем платить, дедушка?!

Дед Слава посмотрел на них долгим, изучающим взглядом.

— Памятью, — сказал он. — Я вас сейчас отпущу. Ноги ваши снова ходить станут. И руки болтаться. И пойдете вы на все четыре стороны.

Он достал из-за пазухи фляжку с самогоном.

— Но как выйдете за калитку, — дед отхлебнул и крякнул, — забудете все. Как вас звали, как ходить, как ложку держать. Станете вы чище младенцев. И будете сидеть на дороге, пока кто-нибудь добрый не подберет. И будете вы всю жизнь друг за другом ходить, как привязанные, и мычать, потому что слов у вас не будет. Это будет цена за мой самогон и мою вяленую рыбу. Ну как, по рукам?

— Отпусти! — взмолился гнилозубый. — На колени встану! Не надо! Я всё верну! Я в церковь пойду!

— Поздно в церковь, когда у меня в сенях сидишь, — отрезал дед.

Он подошел к первому вору, нагнулся и одним движением развязал красный узел на руках.

Узел развязался с сухим треском, похожим на выстрел.

В ту же секунду ноги вора с чавкающим звуком вышли из пола. Он рухнул на колени, не чувствуя их.

Дед развязал второго. Третьего, на крыльце, просто сдернул с липких ступеней за шиворот.

— А теперь вон, — сказал дед Слава. — И чтоб духу вашего здесь не было.

Он дунул на зеленую лучину. Свет погас. В избе стало темно, как в могиле.

Воры вывалились в сени, толкая друг друга, падая, скуля. Они вывалились на крыльцо, скатились по ступеням в грязь.

Дед Слава стоял в дверном проеме. Обычный старик в исподней рубахе.

— Сами пойдете или проводить? — спросил он в темноту.

В ответ раздался дробный, удаляющийся топот. Но это был не бег. Это было беспорядочное падение трех тел, которые не понимали, как переставлять ноги. Они ломились через кусты смородины, через мокрую крапиву, прочь от дома, прочь от села, в глухую, черную ночь, забыв, кто они и куда бегут.

Дед Слава постоял еще минут пять, вдыхая запах остывающего дождя. Потом сплюнул, закрыл тяжелую дубовую дверь на засов и пошел в избу.

Он взял веник и аккуратно смел в совок остатки красной нити, которую срезал с рук воров.

— Ишь ты, — пробормотал он, вытряхивая совок в печь. — Грязи натащили. Теперь полы мыть.

Он поворошил кочергой угли. Воры уже были далеко за околицей. Они сидели в луже посреди дороги, обняв друг друга за плечи, и выли на луну, потому что забыли, как пользоваться словами, а потребность кричать от ужаса осталась.

Язва

Июль тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года плавил асфальт на улицах Липецка, но в лесу под Казинкой, у старой бобровой плотины на реке Матыре, стояла густая, зеленая прохлада. Дед Слава сидел с школьным другом, Петькой Волковым, на поваленной иве. Петька был бледен, как речная лилия, и пот лил с него градом, хотя ветра не было вовсе.

— Федорыч, — просипел он, держась за живот. — Плохо мне. Ой, как плохо. Словно ежа раскаленного проглотил.

Я знал этот «еж». Петька маялся язвой с самой войны. Врачи в районной больнице только руками разводили и давали пить крахмал с содой. А тут, на рыбалке, его скрутило так, что он не мог разогнуться. Лицо его стало восковым, на лбу выступила синяя, страшная сетка вен.

Я положил руку ему на живот. Под пальцами, там, где должна быть твердая мышца, я почувствовал пустоту и пульсирующий, влажный жар.

— Прободение у тебя, Петро, — сказал дед тихо. — Дыра в желудке. Если в город не везть — до заката не доживешь.

До города тридцать километров. Телефонов тогда в селе не водилось. Машина у нас была — мои две ноги да его, которые сейчас подкашивались.

— Терпи, — сказал я, снимая с пояса старый холщовый мешочек. — Я сейчас. Ты только землю не отпускай. Держись за корень ивы.

Дед пошел в чащу. В лесу в такую жару пахнет не хвоей, а горячей смолой и сухой пылью. Но мне нужен был не этот запах. Дед искал запах железа и озона — запах надвигающейся грозы, который всегда сопровождает сильное колдовство.

Он нашел его в низине, у гнилого пня. Трава, которую в справочниках называют «плаун», а у нас в селе звали «ведьмина борода». Она росла не ковром, а одним-единственным, толстым, жирным стеблем, который светился в полумраке леса бледным, фосфорическим светом. Листья ее были жесткими, как рыбья чешуя, и когда я дотронулся до них, они издали тихий, сухой треск.

Дед не срывал ее. Дед срезал ножом у самого корня, шепча извинения лешему. Плаун — травка гордая, она не терпит грубости.

Вернулся он быстро. Петька сидел, привалившись к стволу, и тихо выл. Глаза его были уже не здесь.

— Пей, — сказал колдун.

У него в руках была солдатская фляжка, обмотанная бинтом. Внутри плескалась густая, болотного цвета жижа.

— Горькая, — предупредил маг. — И вонючая. Как сама смерть.

— Мне все равно, — выдохнул он. — Хоть яду.

Он сделал глоток. И замер.

Трава не просто горчила. Она жгла. Но жгла не огнем, а лютым, арктическим холодом. Петька задохнулся, глаза его выкатились. Он попытался оттолкнуть флягу, но я держал крепко.

— Глотай, — приказал дед. — Пусть лед до самого дна дойдет.

Когда последняя капля исчезла в его горле, я забрал флягу.

Теперь начиналось главное. Лед внутри него остановил кровь, заморозил боль, но он же мог убить его, превратив внутренности в камень. Нужно было не просто вылечить дыру. Нужно было заставить тело поверить, что дыры никогда не было.

Дед сел перед ним на корточки. Положил свою левую ладонь ему на лоб, а правую — на то место, где под тонкой рубашкой бился в агонии желудок.

И маг не шептал. Заговор нельзя шептать, его нужно выдыхать из самой глубины костей. Он говорил слова, которым меня учил мой дед, а того — его дед. Слова, которых нет в человеческом языке. Это был язык самой земли, язык корней и подземных вод.

Маг говорил о том, что плоть должна срастись. дед не просил. Он приказывал. Дед рисовал в воздухе перед его животом невидимую иглу и невидимую суровую нить. Маг «шил» его.

— Кость к кости, мышца к мышце, жила к жиле. Как вода камень точит, так и язва тебя точит. Но вода камень не ломит, а гладит. Стань и ты гладким, Петро. Стань цельным.

Он чувствовал, как под моей правой ладонью происходит движение. Там, внутри, словно лопались тысячи крошечных пузырьков. Холод плауна начал отступать, но вместо него приходило не прежнее жжение язвы, а мягкий, строительный жар. Жар заживления.

Петька перестал выть. Он смотрел на деда не мигая. По его вискам тек пот, но лицо больше не было восковым. На щеках проступил слабый румянец.

— Федорыч, — прошептал он. — Тепло. Мне тепло.

— Спи, — сказал маг, не убирая рук. — Спи крепко. Сейчас мы твою дыру зашьем намертво.

маг держал его так до самого заката. Солнце село за лесом, и лес стал черным, плоским силуэтом. Когда на небе зажглась первая, самая яркая звезда, дед убрал руки.

Он поднялся. Ноги гудели, словно я в одиночку разгрузил вагон угля. Во рту стоял вкус ржавчины. Колдовство всегда берет плату, и платит всегда тот, кто колдует.

Петька спал. Он дышал ровно, глубоко, как спят только здоровые люди или мертвецы. А маг приложил ухо к его животу. Там, глубоко внутри, больше не было пульсирующей язвы. Там тихо и мирно работал здоровый, сросшийся желудок.

— Слава, — вдруг сказал Петька, не открывая глаз.

— Спи, — повторил дед.

— Я думал, ты меня в больницу поволок, — он улыбнулся во сне. — А ты меня зашил.

Мы просидели у костра всю ночь. Утром Петька встал. Он походил, присел, попрыгал.

— Не болит, — сказал он изумленно, хлопая себя по животу. — Федорыч, честное слово, не болит! А ведь двадцать лет мучился. Каждый чих — и то больно было.

А дед молча собирал удочки.

— Как ты это сделал? — не унимался он. — Что за трава? Покажи.

— Не покажу, — отрезал маг. — И забудь.

— Почему?

— Потому что я тебе, Петро, не просто дыру залатал. Я тебе память о ней выжег. Но если ты снова начнешь самогон литрами хлестать да сухомяткой давиться, язва вернется. И в этот раз она тебя дожрет, потому что меня рядом не будет. Понял?

Он кивнул. Он все понял.

Мы пошли в село. Петька шел легко, размахивая руками, как мальчишка. А дед шел тяжело, шаркая старыми кирзачами. За это исцеление я заплатил пятью годами своей жизни. Но глядя на широкую, счастливую спину школьного друга, он знал, что цена была честной.

Петька Волков умер через сорок лет. Не от язвы. Он так и не выпил больше ни рюмки сверх меры. Он умер во сне, в своей постели, глубоким стариком, с абсолютно здоровым, крепким желудком. Язва больше ни разу не напомнила о себе. А дед забрал ее себе, в свои старые кости, и она растворилась там вместе со мной, не причинив вреда никому другому.

Праздник

Июнь на реке Матыре пахнет не цветами, а мокрым песком, старым железом и сладковатой гнилью речных водорослей. Солнце висело над селом Казинкой тяжелым, раскаленным диском, выжигая последние капли влаги из земли.

Мы с отцом сидели на самом крутояре, там, где река делает петлю, образуя тихий, глубокий омут. Внизу, под нами, лениво плескалась черная вода. Это был не просто выходной. Это был наш праздник.

— Сегодня девять лет, — сказал отец, не поворачивая головы. Его лицо, выдубленное ветрами и временем, казалось высеченным из старого дуба.

— Девять лет, как мы его обратно за Можай загнали.

Я знал, о ком он. О «Той Ночи». О ночи, когда из старого колхозного коровника, из-под прогнивших полов, полезла наружу настоящая, густая, пахнущая серой и мокрой шерстью Тьма. Она не была ни чертом, ни зверем. Она была просто отсутствием смысла, пустотой, которая хотела сожрать Казинку, а потом и весь мир.

Мне тогда было двадцать. Я помню, как горели фонари на столбах — не перегорали, а именно плавились, стекая черными слезами. Помню, как собаки выли, сдирая глотки в кровь, а люди стояли у своих ворот, не в силах сделать шаг, потому что их тени вдруг обрели вес и держали их за ноги.

Отец тогда вышел в ночь в одной исподней рубахе. Он не взял ни осинового кола, ни святой воды.

Он взял только старый, покрытый ржавчиной серп и мешочек с четверговой солью. Он разговаривал с этой Тьмой. Не кричал, не читал молитв. Он говорил с ней как с соседом, который забрел на чужой огород. Он объяснял ей, что здесь — Казинка. А в Казинке земля твердая, и чужие здесь не ходят.

Он победил. Не убил

— Тьму нельзя убить, она просто есть. Он ее отменил. Выпроводил обратно в те щели между мирами, откуда она лезет, когда люди забывают зажигать свет в окнах.

— Смотри, — отец кивнул на реку. — Видишь?

Я прищурился. В черном зеркале омута что-то происходило. Обычно там отражалось только небо и наша лодка-плоскодонка, привязанная к коряге. Но сейчас отражение дрожало. Небо в воде начало темнеть, наливаться багровым, хотя над нами оно было пронзительно-голубым. В отражении поплыли клубы черного дыма.

— Помнит, — усмехнулся отец. — Матыра — она как губка. Она все впитывает. И страх, и радость. Она до сих пор переваривает ту ночь.

Отец достал из старой холщовой сумки, стоявшей между нами, две вещи: граненый стакан, мутный от времени, и бутылку. Внутри бутылки была не водка. Там была густая, маслянистая жидкость цвета венозной крови.

— Что это, батя? — спросил я.

— Это мы, — ответил отец. — Это наша победа.

Он налил тягучую жидкость в стакан. Она не лилась, а сползала по стенкам.

— Встань, Владимир, — сказал он. Голос его стал тяжелым, как литой свинец.

Я поднялся. Ноги были ватными. Воздух вокруг сгустился, стало трудно дышать.

— Мы девять лет празднуем, — продолжал отец, держа стакан на уровне груди. — Но праздновать победу — значит помнить, что враг может вернуться. Мы не радуемся. Мы подтверждаем договор.

Он протянул стакан мне.

— Пей.

Я взял стекло. Оно было ледяным, хотя солнце пекло нещадно. Я поднес стакан к губам. Жидкость пахла озоном, грозой и почему-то детством.

Я выпил.

Это не было огнем. Это был холод. Лютый, космический холод, который прошел по пищеводу и взорвался в желудке не болью, а вспышкой абсолютного, белого света. На секунду я перестал видеть реку, отца, небо.

Я видел только переплетение корней под землей, как бьется сердце летучей мыши в пещере за три километра отсюда, и как в том самом старом коровнике, заколоченном досками, сейчас медленно, мучительно корчится в пустоте та самая Тьма, лишенная права касаться нашего мира.

Я выдохнул.

Вместе с выдохом изо рта вырвалось облачко пара, хотя на улице стояла жара.

Отец забрал стакан. Его глаза, обычно выцветшие, голубые, сейчас горели тем же желтым, волчьим огнем, что и в ту ночь.

— Хорошо, — кивнул он. — Держит.

Он повернулся к реке.

— Слушай меня, — сказал он не нам, а черной воде. — Девять лет. Мы здесь. Мы трезвые. Мы помним. Пока мы помним — ты не войдешь. Ни через сны, ни через зеркала, ни через черную кошку, перебежавшую дорогу. Ты сыта? Сыта. Вот тебе дань.

Он размахнулся и швырнул стакан в омут. Стекло не разбилось. Оно вошло в воду беззвучно, как в масло, и исчезло в глубине, оставив на поверхности лишь медленно расходящиеся круги.

В ту же секунду наваждение прошло. Солнце снова стало просто солнцем. Река отразила чистое небо. Стало легко дышать.

Отец тяжело опустился на траву, достал кисет и начал сворачивать самокрутку. Руки его чуть заметно дрожали. Колдовство всегда берет плату. Сегодня он заплатил десятью годами жизни за то, чтобы я мог дышать этим воздухом.

— Ну вот и всё, — сказал он, выпуская густой клуб дыма. — До следующего года, Владимир.

— Какого числа отмечаем? — спросил я, садясь рядом. Голос мой все еще звучал хрипло.

— А всегда в этот день, — отец посмотрел на меня своим тяжелым, всевидящим взглядом. — Когда самый жар. Когда кажется, что мир вот-вот расплавится. Именно тогда Тьма и лезет из всех щелей, думая, что люди ослепли от солнца. А мы сидим здесь. И не даем ей хода.

Мы сидели молча до самого заката. Мы не ловили рыбу. Мы не говорили о жизни. Мы просто были. Два колдуна, старый и молодой, два пограничных столба на краю Казинки.

А река Матыра внизу тихо и благодарно несла свои черные воды, переваривая ледяное стекло стакана, в котором навсегда запечатали память о том, как однажды, девять лет назад, старый человек по имени Слава просто сказал Тьме «нет», и она была вынуждена подчиниться.

Тьма

Тьма в Казинке была не такой, как в городе. Городская тьма — это просто отсутствие лампочки. Выключи свет — и вот она. Пустая, гулкая, нестрашная.

Тьма в Казинке была живой.

Она выползала из оврага за домом деда Славы не с заходом солнца, а чуть раньше, когда небо становилось цвета индиго. Она сочилась из-под корней старой ракиты, как черный деготь. У нее не было формы, но был вес. Когда она вползала в сени, тяжелая дубовая дверь захлопнулась сама собой, хотя ветра не было.

В тот вечер Тьма пришла за дедом Славой.

Он сидел на низенькой скамеечке у теплой печи и чистил старую, потемневшую от времени серебряную монету. За окном шумел сентябрьский дождь, но звук был неправильным. Капли стучали по стеклу не вразнобой, а ритмично, словно кто-то невидимый постукивал костяшками пальцев похоронный марш.

— Входи, чего мокнуть, — не поднимая головы, сказал дед Слава в пространство.

Дверь в сени не скрипнула. Она просто исчезла. Проем заполнила абсолютная, густая чернота. Это не была тень. Тень — это когда что-то стоит между тобой и светом. Здесь же света не было вообще. Ни снаружи, ни от печи. Огонь в печи не погас, он продолжал гудеть, но его свет больше не освещал комнату. Он освещал только саму печь, а дед Слава и его руки с монетой остались в серой, пыльной полумгле.

— Звал? — спросила Тьма.

Голос у нее был не страшный. У него не было эха. Он звучал как шелест пересушенной газеты или как звук, с которым моль пожирает шерстяное сукно. Это был звук медленного, неотвратимого распада.

— Не звал, — дед потер монету о рукав. — Сама пришла. По мою душу или так, по делам?

— По тебя, — прошелестела Тьма, вползая в комнату. Теперь она была не только в дверях. Она стекала по стенам, оседая на фотографиях в рамках, отчего лица предков деда Славы на снимках начали тускнеть и расплываться. — Слышала, ты тут порядок наводишь. Монетки чистишь. Готовишься?

— Я всегда готов, — пожал плечами дед. — Старая рубаха чистая, гроб в сарае просушен. Чего мне еще? А монета… это так. Память.

Тьма издала звук, похожий на смешок, но в нем не было радости. Только ржавчина.

— Тысячу лет мы с твоим родом в переглядки играем, Слава. Ты меня гонишь, я жду. Ты стареешь, я набираюсь сил. Ты сегодня последний в роду, Федорыч. Сына Владимира я в прошлом году взяла — инсульт, быстро. Внука я в городе заберу, он там в своем бетоне сам задохнется. Кончились твои чародеи. А значит, кончился и свет.

Дед Слава наконец поднял глаза. В полумгле его зрачки казались не голубыми, а желтыми, как у старой совы.

— Ты путаешь, — сказал он тихо. — Ты думаешь, я вас держу, пока живу. Что я — стена. А я не стена. Я — дверь.

Тьма на мгновение замерла. Черные щупальца, ползущие по полу, остановились.

— Дверь? — переспросил шелест.

— Ага, — кивнул дед. — Вы же не просто так лезете. Вы лезете оттуда. Из-под земли. Из-под времени. Вы — то, что было до людей. Пустота. А я — тот, кто стоит на пороге. Я вас не убиваю. Я вам просто дверь не открываю.

Он встал. Роста в нем было чуть больше полутора метров, но в этот момент он показался Тьме огромным. Он засунул руку прямо в гудящее пламя печи. Тьма отшатнулась от жара, но дед даже не поморщился.

Он достал из огня не уголек. Он достал сгусток чистого, ослепительного света. Он лежал в его ладони, как кусок живого, пульсирующего топленого масла, не обжигая кожу.

— Вы думаете, свет — это когда лампочка, — сказал дед Слава, и голос его стал густым, как мед. — Вы думаете, его можно закрыть ладонью. Вы не понимаете физики. Настоящий свет — это не частицы. Это память.

Он сжал ладонь. Свет не погас. Он просто исчез внутри руки.

— Вот смотри, — дед шагнул вперед, прямо в объятия Тьмы.

Чернота окутала его. В комнате стало так темно, как не бывает даже в самой глубокой пещере. Дед Слава протянул руку и коснулся плеча Тьмы.

И он начал рассказывать.

Он не читал заговоров. Он не махал руками. Он просто говорил.

Он рассказывал Тьме о вкусе горячего ржаного хлеба, только что вынутого из печи. О том, как пахнет антоновка, когда ее трешь на терке. О том, каково это — проснуться утром оттого, что в окно бьет солнце, и щуриться от боли в глазах. Он рассказывал о первом поцелуе, о страхе перед экзаменом, о тяжести новорожденного сына на руках.

Каждое слово было как удар колокола.

Тьма завыла. Но это был не вой зверя. Это был звук рвущейся ткани. Черные щупальца, касавшиеся деда, начали съеживаться. Там, где рука Славы касалась Тьмы, чернота превращалась в серый пепел и осыпалась на пол.

— Вы боитесь памяти, — говорил дед, продолжая держать Тьму за то, что можно было бы назвать ее локтем.

— Потому что у вас ее нет. Вы — вечность без событий. А человек — это мгновение, набитое событиями под завязку. Мы для вас — как заноза в глазу. Мы помним вкус воды! Помним, как болит порезанный палец! Это для вас — яд.

Тьма пыталась отпрянуть, втечь обратно под половицы, но дед Слава держал крепко. Он вливал в нее свою жизнь. Он рассказывал ей о войне, о том, как пахнет кровь на морозе, и о том, как сладко спать на сеновале. Он отдавал ей всё: свои воспоминания, свои шрамы, свою любовь к жене Светлане, свою тоску по умершему сыну.

— Бери, — говорил он. — Это всё тебе. Забирай. Но пока я это помню — ты здесь не пройдешь.

Тьма дернулась в последний раз. Раздался звук, похожий на всхлип, на скрежет старого колодезного ворота. И она рассыпалась.

В комнате вспыхнул свет. Обычный, тусклый свет лампочки под потолком. Запахло озоном и пылью.

Дед Слава стоял посреди горницы один. На полу, там, где была Тьма, лежал лишь тонкий слой серой, невесомой пыли.

Дед тяжело вздохнул. Достал из кармана ту самую серебряную монету. Она была горячей. Он подбросил ее на ладони.

— Порядок, — сказал он сам себе. — Еще на год порядок.

Он подошел к окну. Дождь кончился. На востоке, над черной кромкой леса, небо уже начинало наливаться бледной, зеленоватой рассветной кровью. Дед Слава потер грудь слева. Там, где сердце, было пусто и холодно. Каждый раз, когда он отгонял Тьму, он отдавал ей кусок своей памяти. Сегодня он отдал всё, до самого дна.

— Ничего, — прошептал он, глядя на разгорающийся рассвет. — Владимир помнит. Внук помнит. Пока хоть один из рода помнит вкус хлеба — вам, пустым, ничего не светит.

Он задернул ситцевую занавеску в мелкий цветочек и пошел растапливать печь. Впереди был долгий день, и нужно было нарубить дров. Тьма вернется. Она всегда возвращается. Но завтра утром она снова встретит на пороге человека, который знает, как пахнет жизнь.

Ночь

Ночь в Казинке не наступала. Она здесь жила.

Дед Слава знал это лучше других.

Для людей ночь была просто временем суток, когда закрывают ставни и гасят лампы. Для деда Славы ночь была океаном, который каждое утро отступал, чтобы к вечеру вернуться снова, затопив собой луга, овраги и кривые сельские улочки.

Он сидел на завалинке своего дома.

Августовская ночь была густой, как старый мед. Она пахла пылью, остывающей землей и горьким дымом из труб. Где-то далеко, за рекой Матырой, перекликались поезда, но их гудки звучали не как голос прогресса, а как плач заблудившихся в темноте зверей.

Дед Слава не спал уже сорок лет. Не потому, что мучила бессонница. Он просто не видел в этом смысла. Сон — это маленькая репетиция смерти, а дед Слава был слишком близко знаком с настоящей смертью, чтобы тратить время на репетиции. Он предпочитал бодрствовать и сторожить границу.

— Тяжелая ты сегодня, — сказал он в темноту. — Давишь.

Темнота не ответила, но дед почувствовал, как она придвинулась ближе, обтекая его ноги, забираясь под воротник старой телогрейки.

Ночь была не пустотой. Она была наполнена. В ней копошились тени умерших предков, шелест забытых снов, скрипели суставы старого мира. Дед Слава был здесь единственным, кто понимал их язык. Он был переводчиком между днем и ночью.

Он достал из кармана кисет. Скрутил самокрутку, чиркнул спичкой. Вспышка серы на секунду ослепила его, выхватив из мрака узловатые руки и лицо, похожее на кору старого дуба.

Как только спичка погасла, стало еще темнее.

— Боишься света? — усмехнулся дед, выпуская дым. — Правильно боишься. Свет — он честный. Он показывает, где грязь. А ты, ночь, — ты прячешь. Ты утешаешь. Ты принимаешь в себя всё, от чего люди хотят отвернуться.

Из темноты сада, из-под куста смородины, донеслось тихое, влажное дыхание. Дед Слава не повернул головы. Он знал, кто там. Это был не волк и не собака. Это была Тоска. Она приходила каждую ночь, ложилась у его ног и клала тяжелую голову на колени. Она пахла мокрой псиной и осенними листьями.

— Ну, здравствуй, — дед опустил руку и почесал Тоску за невидимым ухом. — Соскучилась? Все село спит, а ты бродишь. Работу ищешь.

Тоска вздохнула. Дед Слава знал, что если он сейчас закроет глаза и уснет, Тоска перетечет в дом, просочится под одеяло к спящей жене Светлане, и завтра она проснется с головной болью и тяжестью на сердце. Но пока дед сидел здесь, на границе двора, Тоска была приручена. Она была просто собакой, ждущей ласки.

— Иди-ка ты в овраг, — строго сказал дед. — Там сегодня луна в туман падает, красиво. Посмотри за ней. А сюда не суйся. У меня тут Светка. Ей завтра молоко сепарировать, ей тяжело быть не положено.

Тоска еще раз вздохнула, тяжело поднялась и, шаркая лапами по пыли, ушла в сторону огорода. Дед Слава остался один.

Он посмотрел на небо. Звезды в Казинке висели низко, как лампочки в сельском клубе. Они не мерцали. Они горели ровным, холодным светом, словно глаза огромного зверя, наблюдающего за ним из космической бездны.

— Смотрите, смотрите, — пробормотал дед. — Нечего тут смотреть. Всё под контролем.

Он встал. Кости хрустнули. Ночь тут же бросилась на освободившееся место на завалинке, заполняя теплую вмятину, оставленную его телом. Дед Слава подошел к калитке. Она была не заперта.

Он вышел на улицу.

Село спало. Дома превратились в черные, бесформенные глыбы. Только в одном окне на другом конце улицы горел огонек. Дед прищурился. Это был дом путевого обходчика. Там не спал ребенок — у него была горячка. Дед видел, как над крышей дома поднимается тонкая, дрожащая струйка пара — это испарялся детский страх.

Дед Слава достал из-за пазухи маленький бумажный кулек.

В нем была соль, смешанная с золой из печи. Он развязал его и, не глядя, широким жестом сеятеля бросил щепоть соли на перекресток.

Соль не упала на землю. Она вспыхнула в воздухе холодным синим пламенем и сгорела без остатка.

Страх в доме обходчика на секунду стал чуть тише. Ребенок перестал метаться и ровно задышал.

— Вот так-то, — удовлетворенно кивнул дед. — Порядок.

Он пошел дальше по улице. Ночь расступалась перед ним и смыкалась за его спиной. Он шел не к какой-то цели. Он просто совершал обход. Он был часовой.

Мимо промелькнула бледная тень. Дед Слава щелкнул пальцами. Тень замерла. Это был призрак старого пастуха, умершего еще до войны. Дед давно привык к его присутствию. Пастух просто бродил по привычке, искал своих овец.

— Налево не сворачивай, — бросил ему дед. — Там вдова Агафья поминать тебя собралась, плачет. Напугаешь бабку. Стой у колодца, жди утра. Там и развеешься.

Тень почтительно качнулась и растворилась в воздухе у старого сруба.

Дед Слава дошел до околицы. Дальше начиналось поле, а за ним — черный, глухой лес.

Там, на самом краю леса, стояла самая густая, самая первобытная тьма. Она дышала.

Дед подошел к ней вплотную. Он не боялся. Он и сам был частью этой тьмы, ее разумным, дневным отростком.

— Ну что, сестрица? — сказал он в черноту леса. — Доигралась? Скоро рассвет.

И словно в ответ на его слова, далеко-далеко, за краем земли, небо начало менять цвет. Черный бархат стал сначала темно-синим, потом лиловым, а затем — цвета мокрой голубиной грудки.

Ночь дрогнула. Она начала отступать. Звезды поблекли. Тени стали короткими и прозрачными.

Дед Слава стоял и смотрел, как свет пожирает темноту. Он не чувствовал триумфа. Только тяжелую, рабочую усталость.

— До вечера, — сказал он уходящей ночи. — Вечером придешь снова. Я буду ждать.

Он повернулся и пошел к дому. В огороде уже кричали петухи, возвещая победу дня. Но дед Слава знал правду. Никакой победы не было. Была только передышка.

Он вошел в сени, снял телогрейку. Из комнаты пахнуло теплом, печеным хлебом и сном.

Светлана спала, тихо посапывая. Дед подошел к кровати, долго смотрел на ее лицо, разглаженное сном.

— Порядок, — прошептал он. — Всё в порядке.

Он лег на свою лавку у печи, закрыл глаза и мгновенно провалился в темноту. Но это была не та, внешняя, живая и влажная ночь. Это была его собственная, внутренняя ночь, тихая и безопасная. До самого вечера.

Пушкин

У деда Славы в Казинке был кот. Звали его Пушкин. Имя это прилипло к нему не за литературные таланты, а за бакенбарды. В молодости кот был черен, как типографская краска, и пушист, а с годами шерсть на щеках вылезла, оставив два симметричных седых островка. К своим пятнадцати годам Пушкин стал цвета старого, потемневшего серебра, но бакенбарды остались — гордые, белые, пушистые.

Пушкин был не просто животным. Он был барометром деда, его вторым сердцем и хранителем порога. Он знал, когда деду будет приступ ревматизма — за час до него он ложился ему на поясницу. Он знал, когда жена Светлана собиралась ворчать — он прятался под лавку и смотрел оттуда желтым, осуждающим глазом.

В то утро Пушкин не пришел на завтрак.

Дед Слава звал его до обеда. Он тряс в сенях банкой со сливками — тем звуком, от которого раньше у Пушкина подрагивали даже седые бакенбарды. Он выходил на крыльцо и кричал в сентябрьскую тишину:

— Пушкин! Александр Сергеич! Хватит мышей караулить, сметана греется!

Тишина отвечала ему сухим шелестом падающих листьев.

Дед почувствовал неладное не умом, а печенью. Он вышел за калитку. Река Матыра в тот день была цвета свинца. Дед прошел по огороду, по саду, заглядывая под каждый куст смородины.

Он нашел его за сараем, у поленницы.

Пушкин лежал на боку, вытянувшись, как струна. Глаза его, обычно желтые, как старый воск, были подернуты мутной пленкой. Он не дышал.

От него пахло не смертью — смерть пахнет химией и больницей. От него пахло просто… отсутствием. Пустотой. Словно кто-то пришел и выключил его из розетки.

Дед Слава сел прямо на сырую землю рядом с котом. Он не плакал. Слезы — это для тех, кто удивляется смерти. А дед Слава пятьдесят лет торговался со смертью, и она ему уже порядком надоела.

— Ну и чего разлегся, Сергеич? — тихо спросил он, погладив холодный, жесткий бок. — Кто мышей в подполе гонять будет? Светлана без тебя совсем заест.

Он просидел так до самого вечера. Солнце село быстро, выключив свет одним щелчком. В сгустившейся темноте дед поднял кота. Он был легким, как охапка сухих веток, и холодным, как речная галька.

— Пойдем, — сказал он. — В дом пойдем. Не дело тебе в грязи лежать.

Он занес его в избу, положил на лавку у печи. Жена Светлана посмотрела на него из своего угла, поджала губы, но промолчала. Она знала: если Слава молчит и делает что-то — мешать нельзя. Целее будешь.

Дед Слава не пошел в лес за травами. Травы — это для легких болезней. Для насморка. Для того, чтобы кровь разогнать. А тут нужно было что-то посерьезнее. Нужно было спорить с самим законом всемирного тяготения.

Он достал из старого сундука два мотка ниток. Один — черный, шерстяной. Другой — красный, суровый, льняной.

— Света, свет погаси, — сказал дед, не оборачиваясь.

— Совсем? — спросила жена.

— Совсем. Только лампадка пусть горит. У иконы.

В избе стало темно. Только красный огонек лампадки бросал на стены пляшущие, тревожные тени. Дед Слава взял кота. Он положил его на стол, прямо на чистую льняную скатерть.

— Пушкин, — сказал он в самое ухо зверька. — Я тебе всегда молока наливал? Наливал. Колбасы воровал? Воровал. Долги отдаешь — самое время.

Он взял черную нить.

— Это земля, — прошептал он. — Это память. Это то, откуда все вышли.

Он начал обматывать кота.

Не туго, не как мумию. Он обматывал его крест-накрест, от головы к хвосту, от лапы к лапе. Черная нить ложилась на серую шерсть, и казалось, что кот просто становится частью ночи, растворяется в ней.

— Спи, — бормотал дед. — Спи крепко. Ты же устал. Полторы тысячи мышей, три собаки, один заблудившийся пьяный тракторист — всё на тебе. Спи.

Когда кот превратился в черный шерстяной кокон, дед взял красную нить.

— А это — кровь, — сказал он громче. — Это жизнь. Это я. Это Владимир, мой сын. Это Светка. Это всё, что бьется и греется.

Он начал обвязывать черный кокон красной нитью. Он вязал узлы. Древние, сложные наузы. Каждый узел — это был приказ.

Узел первый: «Сердце, бейся».

Узел второй: «Легкие, вдохните».

Узел третий: «Мозг, вспомни тепло печи».

Дед Слава не просто вязал. Он дул на узлы. И от его дыхания, от его старого, пропахшего махоркой и полынью выдоха, красная нить в темноте начинала едва заметно светиться, как уголек.

— Встань, — сказал дед, завязывая последний, самый тугой узел на горле кота. — Я сказал — встань. Я твой бог и твой хозяин. Я тебе приказываю. Ты мне еще сметану должен.

Он положил руки на кокон. Ладони были горячими, тяжелыми. Он вдавил их в шерсть.

— Ну! — рявкнул он так, что дрогнули стекла. — Кому сказал!

И он дернул. Не за нить. Он дернул из самого нутра, из своей старой, изношенной души. Он отдал коту кусок своего собственного тепла.

Ту искру, которая еще позволяла ему каждое утро открывать глаза.

В избе запахло озоном. Как перед грозой.

Черный кокон на столе дернулся. Раз. Другой.

Раздался тихий, сухой треск рвущихся ниток.

Из кокона показалась лапа. Она была не серой.

Она была розовой, мягкой, живой. Она выпустила когти и вцепилась в льняную скатерть.

Пушкин сел.

Он был мокрым. С него капала какая-то черная, густая жижа — та самая пустота, в которой он провел день. Он посмотрел на деда Славы.

Пленки с глаз исчезли. Глаза снова стали желтыми, яркими, но в них стояла такая глубокая, космическая обида, какую можно увидеть только в глазах существа, которого вытащили из рая (или ада) против его воли.

— Мяу, — сказал он.

Но это было не «мяу». Это был звук, похожий на скрежет напильника по металлу. Он потерял голос там, в темноте.

Дед Слава тяжело выдохнул и осел на табурет. Лицо его стало серым, как пепел. По виску, пробивая дорожку в морщинах, текла капля пота. Он отдал слишком много.

Вошла Светлана с лампой. Увидела кота на столе, увидела черную грязь, увидела бледного мужа.

— Слава… — прошептала она. — Ты что наделал?

Пушкин, увидев хозяйку, сделал невероятное усилие. Он спрыгнул со стола. Лапы его подкосились, он упал, но пополз. Подполз к ногам Светланы и, издав тот же скрипучий звук, ткнулся мокрой головой в тапок.

Светлана села на пол прямо в своем новом байковом халате и зарыдала. Она обнимала кота, гладила его, пачкаясь в черной жиже, и причитала:

— Дурочка… старая… куда ж ты ходил… я ж тебе колбасы купила…

Дед Слава сидел на табурете, смотрел на них и слабо улыбался.

— Колбасы ему дай, — просипел он. — И молока. И сама выпей. У меня там, в сенях, в бутыли… нервы лечить.

Пушкин, уже забыв про свои обиды, терся о колени жены, оставляя на байке черные, пахнущие озоном следы. Он был дома. Он был тяжелее, чем раньше. В нем теперь навсегда поселилась капля той первобытной тьмы, из которой его вытащил старый колдун. Но он был живой.

Дед Слава встал, подошел к печи, подбросил дров. Огонь загудел.

— Порядок, — сказал он в пространство. — Мышей завтра ловить начнет. Порядок.

Чечня

Зима в Казинке в девяносто пятом году выдалась страшная. Не морозом страшная — мороз как раз был слабый, слякотный, — а тишиной.

Телевизор в доме деда Славы хрипел и плевался искрами, ловя новости из-за тридевять земель. Экран мигал зеленым, и оттуда, из плоской стеклянной бездны, пахло гарью, раскаленным металлом и бедой.

Город Грозный. Слово-то какое… Грозный.

Дед Слава смотрел на танковое месиво, на руины, на мальчишек в форме, которые казались на экране еще более плоскими и ненастоящими, чем мультяшные герои.

— Не дело, — сказал он выключенному телевизору. — Совсем не дело.

Его сын Владимир, седой уже мужик, рубил дрова во дворе.

— Батя, — крикнул он, занося колун, — ты опять в ящик уставился? Выключи, сердце надорвешь. Это политика. Мы там ничего не сделаем.

— Мы — нет, — тихо ответил дед. — А я — сделаю.

Владимир замер с занесенным топором. Он знал: когда отец говорит таким голосом — тихим, как шуршание мыши под полом, — мир вокруг начинает меняться.

В ночь на Крещение дед Слава не спал.

Он оделся в самое старое: в ватник, который носил еще на лесоповале, в валенки с галошами.

Достал из сундука мешочек с четверговой солью и банку с речной водой, которую набрал в Матыре ровно в полночь на Ивана Купалу.

Вода в банке не замерзала, хотя на стекле снаружи был толстый слой инея.

— Ты куда это наладился? — спросила жена Светлана, кутаясь в шаль. — Третий час ночи.

— Спи, — бросил дед. — Я скоро. До Грозного и обратно.

Он вышел в сени. Мороз ударил в лицо, но дед не почувствовал холода. Он чувствовал чужбину.

Дед Слава встал посреди двора. Вокруг спала Казинка, дыша в морозное небо теплым паром из труб. А далеко-далеко, за тысячи километров, не спал город, превратившийся в ад.

Дед закрыл глаза.

Он не стал читать молитв. Молитвы — это просьбы. А просить в том месте было не у кого. Он начал вспоминать.

Он вспоминал, как пахнет снег в Казинке. Не этот, грязный и мокрый, а настоящий — сухой, колючий, пахнущий озоном и березовым дымом. Он собрал этот запах в кулак.

Он вспомнил вкус воды из своего колодца. Глубокую, железистую, холодную настолько, что зубы ломит. Он собрал этот вкус на языке.

Он вспомнил тишину. Настоящую русскую тишину, когда падает снег, и слышно только, как ветки ели сбрасывают его на землю.

Дед Слава открыл глаза. В его правой руке был сгусток казинской зимы. Плотный, тяжелый, белый.

— Ну, здравствуй, — сказал он в темноту, обращаясь не к небу и не к земле, а к самому пространству. — Пошли.

Он шагнул.

Для Владимира, который подглядывал в щель ставня, отец просто растворился в морозном воздухе, оставив после себя лишь слабый запах полыни.

Для деда Славы мир не изменился. Он просто стал длиннее. Он шел по черному льду Матыры, но лед этот тянулся под ним сквозь всю Россию. Каждый его шаг по льду отзывался

гулом в стальных фермах мостов. Он шел сквозь ночь, и снег Казинки, который он держал в кулаке, летел впереди него.

Он пришел в Грозный.

Здесь не было снега. Здесь была черная, жирная грязь, перемешанная с кирпичной крошкой. Здесь пахло смертью. Здесь тишина была мертвой — это была тишина отсутствия жизни.

Дед Слава встал на площади Минутка. Вокруг горели остовы БТРов. В окнах многоэтажек зияла пустота.

Он разжал кулак.

Снег Казинки упал на раскаленный, изрытый гусеницами асфальт.

Но это был не просто снег.

Там, где белые хлопья касались земли, асфальт переставал быть черным. Он становился серым, как в мирное время. Гарь исчезала. Запах тротила сменялся запахом мокрого дерева.

Дед Слава поднял банку с речной водой.

— Пейте, — сказал он.

Он плеснул воду на стену разрушенного дома. Вода не стекла на землю. Она впиталась в бетон, и бетон на глазах начал светлеть. Из него исчезла ненависть. Раствор, замешанный на крови и страхе, становился просто камнем.

Дед достал соль.

— А это — на раны, — пробормотал он.

Он бросил щепоть соли в воздух. Ветер подхватил ее и понес по улицам.

Там, где сидели в засаде солдаты, сжимая ледяное железо автоматов, соль коснулась их лиц. И железо перестало быть холодным. Оно стало тяжелым. Тяжелым настолько, что держать его стало невозможно. Пальцы сами разжимались.

Там, где в подвалах прятались люди, соль легла на их пересохшие губы. И жажда крови ушла, сменившись просто жаждой. Хотелось пить. Хотелось спать.

Дед Слава стоял посреди площади, и вокруг него росла зима.

Настоящая, русская, глубокая зима.

Снег падал густо, залепляя прицелы снайперов. Снег скрыл разбитые стекла, засыпал воронки. Он был таким чистым, что смотреть на него было больно.

И вместе со снегом пришел сон.

Огромный, всепрощающий сон.

Мальчишка-снайпер на крыше пятиэтажки опустил винтовку. Он посмотрел на свои руки, потом на падающий с неба снег Казинки, и глаза его начали слипаться. Он уснул прямо там, на рубероиде, под теплым, тяжелым тулупом из снега.

Офицер, сжимавший рацию, уронил голову на стол. Приказы, летящие в эфире, вязли в белой пелене, как мухи в меду.

Дед Слава вычерпал из себя всё. Он отдал этой чужой, враждебной земле весь свой свет, всю свою память о том, как должно быть. Он не остановил войну приказом. Он просто украл у нее причину. Он забрал ненависть, заменив ее на тяжелую, сырую сонливость русской зимы.

Когда он открыл глаза, он стоял в своем дворе в Казинке.

Рассвет только занимался.

Дед тяжело привалился к поленнице. Валенки промокли. В руках было пусто. Банка с водой исчезла. Соль кончилась.

— Батя! — Владимир выскочил на крыльцо. — Ты чего? На тебе лица нет!

Дед Слава посмотрел на сына. Глаза его, обычно желтые и ясные, были тусклыми, как старая слюда.

— Порядок, — прошептал он. — Там сейчас тихо. Спят все.

— Кто спит? — не понял Владимир.

— Все, — дед провел рукой по лицу. — И наши, и не наши. Я им зиму включил. Настоящую. Под ней не воюют, Вова. Под ней только греются.

Он оттолкнулся от дров и пошел в дом. Ноги подкашивались.

— Ляг, поспи, — сказала Светлана, встречая его в сенях.

— Некогда, — пробормотал дед, падая на лавку. — Весна скоро. Весной они проснутся. Надо будет снова идти. Проверять, помнят ли они вкус нашей воды.

За окном в Казинке падал обычный снег. Но дед Слава знал: где-то там, за тысячу километров, на площади Минутка, зима будет длиться еще три дня. И эти три дня будут стоить миру трех дней без выстрелов.

Небо

Июль в Казинке — это время, когда небо становится похожим на выцветший ситец. Жарко так, что даже мухи ленятся летать, а река Матыра превращается в черное, густое зеркало, в котором плавится солнце.

В такую погоду дед Слава обычно сидел в тени старой ракиты и чинил плетень. Но в этот вторник он сидел на крыльце и смотрел вверх. Лицо его было мрачнее грозовой тучи.

— Чего зенки вылупил? — спросила жена Светлана, вынося на крыльцо миску с вишнями. — Голову напечет.

— Пусто, — ответил дед, не отрывая взгляда от синевы. — Третий день смотрю — пусто. Ни облачка. Выдохлось небо.

И действительно, небо было стерильным. Ни единого комочка ваты, ни одной зацепки для взгляда. Просто бесконечная, раскаленная синь, от которой болели глаза.

— И слава богу, — сказала Светлана. — Дождей нам не надо, сено погниет.

— Не в дождях дело, — крякнул дед. — Баланс нужен. Небо без облаков — это как человек без снов. Сгорит изнутри.

Он встал, кряхтя. Солнце ударило по его сутулой спине. Дед Слава прищурился, посмотрел на самый зенит, туда, где солнце жгло сильнее всего, и нахмурился.

— Ну, держись, — сказал он небу. — Сейчас я тебе сны рисовать буду.

Он не пошел в дом за красками. Он знал, что настоящие краски не в тюбиках.

Дед Слава вышел на середину двора, туда, где солнце пекло так, что земля трескалась. Он снял кепку, обнажив седой, коротко стриженый затылок, похожий на пушистую вербу.

Он начал дышать.

Это было не обычное дыхание. Он вдыхал жар земли, запах сухой травы и горький дух полыни. Он втягивал в себя всё это июльское пекло, копил его в груди. Лицо его налилось кровью, вены на висках вздулись.

А потом он начал выдыхать.

Но выдыхал он не воздух. Он выдыхал холод.

Старый колдун знал секрет: чтобы создать облако, нужно не просто испарение. Нужна точка замерзания. Нужна память зимы посреди лета.

С каждым выдохом из его рта вырывался не пар, а невидимая ледяная игла. Дед Слава плевал в небо не слюной, а своим прошлым. Он выдыхал январь. Он выдыхал то, как скрипит снег под валенками. Как звенят на морозе провода. Как пахнет дым из печной трубы в сорокаградусный холод.

Воздух над его головой начал дрожать.

Липкий, тяжелый зной дрогнул и расступился. Там, где ледяной выдох деда встречался с раскаленным солнцем, начала сгущаться белая дымка.

— Светка, а ну иди сюда, — позвал дед, не переставая работать легкими. — Держи образ.

Жена подошла, вытирая руки о фартук.

— Чего еще удумал, старый?

— Смотри туда, — дед ткнул корявым пальцем в зенит. — Видишь? Пусто. А я сейчас там крыло сделаю. Маховое. Белое.

Он сосредоточился. Его руки, опущенные вдоль тела, начали медленно подниматься. Он не просто дышал — он лепил. Пальцами он гнал невидимый ветер, скручивая молекулы воды в тугие спирали.

Сначала появилось просто пятно. Белесое, неровное, похожее на клок паутины. Но дед не отпускал его. Он дул на него, как мальчишка дует на одуванчик, но не чтобы сдуть, а чтобы придать форму.

— Плечо… — бормотал он. — Теперь изгиб… Шея тонкая нужна, лебяжья…

Небо начало меняться. Синее марево пошло трещинами. Белое пятно разрослось, наливаясь плотью. Это был не просто конденсат. Это было творение.

Дед Слава вкладывал в это облако всё свое мастерство. Он вспоминал, как выглядят иконы в старой церкви, которую разобрали еще в тридцатых. Он вспоминал, как плачет жена, когда думает, что он не видит. Он брал эту чистую, горькую соль человеческих чувств и вкатывал ее в небесную вату.

Облако начало обретать форму.

Огромный, в полнеба, изгиб спины. Расправленное крыло, перья которого были выписаны с такой точностью, что, казалось, если дунет ветер, они захлопают. И голова — склоненная, с профилем, четким, как на древней монете.

Ангел.

Ангел, сотканный из пара, льда и памяти деда Славы.

Светлана ахнула и перекрестилась.

— Свят-свят, Слава… Что ж ты творишь-то?

— Порядок навожу, — пропыхтел дед. Лицо его стало белым, как мел. По щекам катился пот, но он был ледяным. Дед отдавал небу свой внутренний жар. — Нельзя без ангелов. Пропадем. Он теперь тут стоять будет. Присматривать.

Ангел висел прямо над Казинкой. Он был сделан из самого плотного, самого белого кучевого облака. Солнце светило сквозь его крыло, и оно светилось по краям золотым и розовым. Он не летел. Он просто был. Он заполнил собой всё небо, и жара под ним сразу стала терпимой. Она больше не давила, а теперь просто грела, как грела бы печь, за которой присматривает хозяин.

— Хватит, — прохрипел дед и пошатнулся. Ноги его не держали. — Уф… Тяжелый. Душа у него тяжелая получилась. Настоящая.

Светлана подхватила его под локоть.

— Иди в избу, окаянный. Весь побелел. Чуть не помер там.

— Ничего, — дед улыбнулся бескровными губами, глядя вверх. — Зато теперь красиво.

Они стояли посреди двора, задрав головы.

Ангел висел неподвижно. Ветер, который метался по земле, поднимая пыль, вдруг стих, не смея коснуться небесного стража.

— Дождя не будет? — спросила практичная Светлана.

— Нет, — ответил дед. — Я его сухим сделал. Он не для воды. Он для порядка. Пока он там висит, у нас ни грома не будет, ни пожаров. Он за небо расписался.

До самого вечера дед Слава сидел на крыльце. Ангел висел над селом. К вечеру солнце стало садиться, и белоснежная фигура начала наливаться закатным багрянцем. Она словно ожила, налилась кровью и торжеством.

— Уходит, — сказал дед, когда начало смеркаться.

Ангел медленно таял. Перья опадали, крыло растворялось в синеве. Небо забирало свой материал обратно.

— Порядок, — кивнул дед, когда на небе снова не осталось ни облачка. — Теперь можно. Он небо починил. До следующей жары.

Он встал и пошел в дом. Ноги всё еще подкашивались, но на душе было легко.

А в селе Казинка еще неделю стояла удивительная погода. Жара была ласковой, дожди шли только по ночам, когда никто не видит, и ни одна ссора в тот месяц не закончилась дракой. Потому что над ними, невидимый днем, но ощутимый сердцем, всё еще стоял огромный, вырезанный из памяти и облаков, ангел старого колдуна.

Туман

Туман пришел в Казинку не с реки. Река Матыра просто спала под ним, черная и глухая, как погреб. Туман приполз из-за старого кладбища, что раскинулось на пригорке за селом. Он не стелился по земле, как положено порядочному утреннему туману. Он шел стеной. Высотой в человеческий рост, плотной, как мокрое сукно, молочно-белой и абсолютно неподвижной.

Дед Слава стоял на крыльце, опираясь на перила, и смотрел на эту стену. Солнце встало уже час назад, оно должно было выжечь эту сырость, но туману было плевать на солнце. Он просто стоял, отсекая Казинку от остального мира.

— Доброе утро, Федорыч, — прохрипел сосед Петька, вышедший доить корову. — Что за напасть такая? Ни зги не видать. Буренка мычит, боится.

— Это не напасть, Петро, — ответил дед, не поворачивая головы. — Это память. Видишь, какой он плотный? Это не вода. Это слезы.

Дед Слава сошел с крыльца. Земля под ногами была мокрой, но не от росы. Под ногами хлюпало, словно дед шел по болоту, хотя до ближайшего болота было десять верст.

Он подошел к самой границе тумана. Провел по нему рукой. Пальцы не встретили сопротивления. Туман не был холодным. Он был… пустым. Он пах старой бумагой, пылью и забытыми снами.

— Эй! — крикнул дед в белую мглу. — Кто там бродит? Выходи по одному!

Туман ответил. Но это был не эхо. Голос родился прямо из белой стены, тихий, шелестящий, состоящий из тысяч шепотов сразу:

— Мы… здесь… Слав… Мы… ждем…

Дед Слава прищурился. Его желтые, как у рыси, глаза видели сквозь морок то, что скрыто от других. Он видел, что туман не был однородным. Внутри него, как мухи в янтаре, застыли фигуры. Вот мальчишка на велосипеде — он крутит педали, но не движется с места. Вот женщина с ведрами — она застыла с поднятой ногой, и вода в ведрах не плещется.

Это был музей остановленных мгновений.

— Чего ждете? — спросил дед. Голос его был тверд, как сухое дерево.

— Конца, — прошелестел туман. — Мы устали течь. Мы хотим просто быть.

— Вы — вода! — рявкнул дед так, что с крыши сарая сорвался кусок шифера и с треском упал в грязь. — Ваше дело — течь и испаряться! А ну, осели!

Туман не послушался. Он даже не дрогнул.

Дед Слава понял: это не природное явление. Это чья-то воля. Кто-то в селе так сильно хотел остановить время, так боялся завтрашнего дня, что его страх сгустил влагу в воздухе до состояния бетона.

— Ладно, — вздохнул дед. — По-хорошему не хотите, будем по-старому.

Он вернулся в сени. Вынес оттуда старый веник из полыни и туесок с четверговой солью.

— Светка! — крикнул он в избу. — Ставни закрывай. На улицу носа не кажи. У нас тут небо решило лечь отдохнуть.

Дед Слава подошел к туманной стене вплотную. Он не боялся. Он знал: туман забирает только тех, кто не знает, куда идет. А дед знал здесь каждую травинку.

— Ну, здравствуй, — сказал он туману, как старому врагу. — Я тебя собирал по капле, когда ты еще дождем был. Я тебя помню.

Он поднял веник. Это был не просто веник. Это был пучок сухой памяти, горькой правды.

Дед ударил веником по туманной стене.

Раздался звук, похожий на удар по туго натянутому барабану. Туман дрогнул. По белой поверхности пошли круги, как от камня, брошенного в воду.

— Пошел! — скомандовал дед. — Вон! На кладбище иди, там тебе место! Нечего живых пугать!

Он начал мести.

Это была самая странная работа в его жизни. Дед Слава подметал воздух.

С каждым взмахом веника туман отступал на шаг. Но он не рассеивался. Он сворачивался, как ковер. Белая стена медленно, неохотно поползла обратно к кладбищу, оставляя после себя мокрую, пахнущую землей и полынью траву.

Дед гнал его по улице.

Туман сопротивлялся. Он цеплялся за плетни, за стволы яблонь. Из него вываливались застрявшие там звуки: скрип телеги, лай собаки, чей-то смех. Звуки падали в грязь и гасли.

— Я сказал, вон! — дед вошел в раж. Лицо его налилось кровью, седая борода тряслась. — Я здесь хозяин! Я — память этого села! Я помню, как первый кол в эту землю вбивали! Мне твои фокусы не страшны!

Он дошел до околицы. Дальше было кладбище.

Туман уперся в старые ворота, кованые, черные. Он сгустился там в огромный, пульсирующий шар, похожий на сердце.

— Там твое место, — тяжело дыша, сказал дед. — Среди тех, кто уже остановился. А живых — не тронь.

Дед развязал туесок. Он взял горсть соли — крупной, серой, пахнущей печным дымом.

— На, подавись, — он швырнул соль прямо в центр белого шара.

Соль не упала. Она вспыхнула в воздухе ослепительным, белым огнем, сухим и жарким, как молния.

Туман издал звук, похожий на предсмертный стон. Он не испарился. Он рухнул. Огромная масса воды, лишенная чужой воли, просто упала на землю холодным, тяжелым ливнем, мгновенно промочив деда до нитки.

Стало тихо.

Светило солнце. Пели птицы. Воздух был прозрачным и чистым, как стекло.

Дед Слава стоял посреди улицы, мокрый, тяжело дышащий, сжимая в руке пустой туесок.

Из калитки выглянула Светлана.

— Слава? Ты чего? Ливень же был… А я и не видела.

— Порядок, — прохрипел дед, утирая лицо рукавом. — Порядок, говорю. Течет теперь.

Он посмотрел на дорогу. По ней весело бежали ручьи, унося в сторону Матыры пыль и остатки утреннего морока.

— Всё течет, — пробормотал дед, опираясь на свой веник из полыни. — И слава богу. Если остановится — значит, померли.

Он развернулся и пошел в дом переодеваться в сухое, оставляя за собой на земле цепочку глубоких следов, которые солнце должно было высушить к полудню.

Пожар

Август в Казинке всегда пахнет пылью и близким, уже дышащим в затылок дождем. Но в тот год август пах гарью.

Лес горел уже третий день. Он не просто горел — он наступал. Огонь шел со стороны старых торфяников, и это был не веселый треск сухих веток, а глухой, утробный гул, от которого дрожали стекла в избах. Солнце превратилось в тусклый, багровый медяк, нависший над землей. Ветер, когда он поднимался, нес не прохладу, а хлопья серого пепла, которые оседали на зубах и в легких.

Пожарные из района приехали, покрутились у кромки леса, плюнули и уехали, сказав, что тут только ливень поможет, а ливня не будет до зимы. Сельчане стояли на околице, смотрели на стену дыма, закрывавшую полнеба, и тихо матерились. Кто-то уже таскал узлы с барахлом к реке Матыре.

Дед Слава стоял не с ними. Он стоял на самом краю леса, там, где трава уже пожелтела от жара, а земля стала горячей, как печь. На нем был старый брезентовый плащ, хотя жара стояла под сорок.

— Батя, сдурел?! — кричал ему сын Владимир, хватая за рукав. — Сгоришь! Уходи в село!

— Сгорю — значит, судьба, — спокойно ответил дед, не отрывая взгляда от леса. — А село я не брошу. Если лес падет, ветер искру донесет — всё Казинке конец. Торфяники под нами. Выгорим изнутри.

Владимир дергал его, но дед стоял, как вкопанный. Корни его, казалось, уже проросли в эту горячую землю.

— Иди, Вова, — сказал он, не глядя на сына. — Иди Светку собирай. И кошку. А мне не мешай. Мне с огнем разговаривать надо.

Когда фигура сына скрылась в сизом дыму, дед Слава медленно стянул с головы кепку. Достал из кармана плаща кисет. Скрутил самокрутку, хотя руки его, покрытые сажей, едва слушались. Чиркнул спичкой. Огонь спички показался жалким и смешным на фоне ревущей стены пожара.

Он затянулся. Выпустил дым.

— Ну, здорово, — сказал дед в сторону леса. — Давно не виделись.

И он шагнул в огонь.

Это не было самоубийством. Это был обход владений.

Дед Слава шел сквозь кромку пожара. Он не прятал лицо от жара. Он шел, и плащ на нем не занимался огнем. Пепел оседал на его плечах, но не жег ткань.

Он шел к сердцу огня.

Там, где торфяники выгорали изнутри, пламя было не красным, а синим, почти прозрачным. Оно ревело, как в доменной печи. Воздух дрожал и плавился.

Дед остановился. Он стоял в центре огненного ада. Здесь не было теней. Здесь был только свет.

— Ишь, разошелся, — крякнул дед. — Хозяином себя почувствовал. Забыл, кто здесь землю пахал?

Он достал из-за голенища сапога старый нож. Не железный — костяной, из ребра лося, который достался ему от прадеда.

Дед Слава воткнул нож в горячую землю, прямо в тлеющий торф.

— Я тебе говорю — стой.

Он заговорил.

Это не был крик. Это был низкий, утробный звук, который шел не из горла, а из самой груди. Он не приказывал огню погаснуть. Огонь нельзя просто так погасить — он упрям, как зверь. Дед начал говорить с ним на его языке. На языке голода.

— Ты есть хочешь? — спрашивал дед, и голос его вибрировал в унисон с гулом пламени. — Ешь. Я тебе дам.

Он достал из кармана горсть соли. Не белой, а серой, крупной, пахнущей землей.

— На, ешь, — он бросил соль в синий огонь.

Соль не зашипела. Она вспыхнула белым, мертвенным светом и исчезла, не оставив пепла. Огонь на секунду стал ярче, а потом, как показалось, чуть притих, словно зверь, получивший лакомство.

— Мало? — дед усмехнулся. — Будет тебе пир.

Он начал отдавать.

Дед Слава начал отдавать огню свою память. Это была самая страшная плата.

Он бросил в пламя память о вкусе горячего хлеба. Огонь затрещал, впитывая аромат.

Он бросил память о запахе волос жены Светланы в молодости. Пламя на мгновение стало золотистым и ласковым.

Он бросил память о том, как пахнет река на рассвете. Огонь зашипел, принимая влагу.

Дед стоял в самом центре пожара и скармливал ему свою жизнь по кусочкам. Он отдавал жар своего сердца, чтобы насытить жар стихии. Он становился холоднее, а пламя вокруг него — сытнее и спокойнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.